

Нина САДУР

ЮГ

Повесть

*Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой...
А.С.Пушкин*

Итак, юг.

Его, малюточку, вынесло к самым моим ногам. Бледные на смуглом личике глазки - в сладкой дымке. Отнесло, брюшком по гальке. Он засмеялся, чтоб я тоже обрадовалась. Забрал в пальцы камушков. Опять принесло. Я там высоко, мне ещё холодно от воды, и он заманивает. А дальше, за ним, за всеми, доверчивой грудью легло небо на кроткое море. Не верь, малюточка, море бывает бешеным.

Вот, наконец, в сладких глазках мелькнула мольба - он понял, что я знаю больше, чем надо, он просит прощения, ребеночек, малек, ласково тычется в мои бедные ноги.

Если бы забыть лет на тысячу, что есть мир, а потом заподозрить о нем, заскучать, затосковать мучительно и проснуться - море до неба, а в ногах плещется чей-то сынок.

Понаехали люди на юг, поднакопили деньжонок, вгрызались в шахты, трудились надрывно. Грубый приехал народ, натруженный - с рассвета до ночи на пляже, за свои деньги - все солнце юга. Понаехали люди на юг, чтобы жить, наслаждаться. Украинские люди.

Везде продается медовый напиток, жареные куры. Люди насыщаются курами, медовой водой.

Оля все время глядит вокруг, на пляжных людей, отошла подальше от случайного мальчика в воде. её оглушала, пугая, грузинская речь. Она думала: «Все здесь чужое. Ну, хорошо, море есть, но я же здесь не одна. Море глазами не выпить. Сколько я не буду с ним рядом, все равно уйду неутоленной».

Она устала на пляже и пошла в город, в кафе-гриль «Каскад». Взяла себе гоголь-моголь, села за столик, отодвинула тарелки со скелетами куриц, поставила свой стаканчик, в грязи и зное стала слушать чужую музыку. Музыка была страшная.

С ней что-то случилось год назад. Оля занемогла как-то внутренне, без особых болезней, почувствовала, что кровь устала течь в её теле, а ведь ещё молодая. Она стала пить витамины, хорошо кушать, но легкая и невидимая сила жизни вытекала из тела. Оля грустнела. Стала ходить, опустив голову. Постепенно отсохли все знакомые. Она оказалась одна. Иногда хорошо быть одной, чтоб полечиться от людей. Но бесплотная сила жизни все равно вытекала, плоть худела, и Оля решила встряхнуться, поехать на юг, чтобы вспомнить на солнце и море, чем надо жить и питать свое тело. Чтобы томиться, не умея высказать море (а оно тем временем промывало бы душу и нервы), чтоб удивляться большому кипению южных роз, слышать горячую, горьковатую южную речь, которая с напором и отчаянием требует ещё больше, чем есть вокруг. Но только она увидела, что сама-то она никак не участвует в общей радости, даже кушает плохо, а плавать далеко не умеет, поэтому чистого моря ей не достается. А достается только людское море, в обмывках чужих тел. Пусть даже и так бы - и обмывками можно иногда полечиться от внутреннего безлюдья, но тепло жизни все равно не возвращалось, а, наоборот, все тусклее внутри и темнее. «Неужели ничего не осталось в мире для меня? - подумала Оля. - А мне ещё так долго жить. Что-нибудь сильное. Вот тогда, в детстве...»

Кажется, Таня... Да, да. Таня из нижней квартиры. Была воровка. Но с ней было интересно дружить, потому что она остро поворачивала жизнь 8 непривычное. Они даже пробовали языком водку в рюмочке, оставленной после поминок. Лазили на чердак, чтобы видеть по-новому свой двор. Один раз Оля своровала, ей не понравилось, после воровства вскипели слезы и стало страшно. Оля часто отходила от Тани: почитать книжки, помечтать о собаке и путешествиях. Но вот однажды спускается сверху маленький мальчик. Идет погулять во дворе. Таня сказала: «Надо набить немца». - «Какой же он немец? - не поверила Оля. - Он даже в школу ещё не ходит». На немце была чистенькая, ещё теплая от утюга, рубашечка. «Они наших убивали», - сказала Таня неслышно для верхнего немца, пока его голые ноги осваивали ступеньки. По очереди на каждой

стоял немец почтительно: вот ступень - она лежит, чтоб на ней постояли ноги. «Ты не понимаешь, - шептала Таня, поталкивая её локтем, - у тебя мама нежная, в самодеятельности артистка, ты не можешь понять фашистов». Немец был ближе и ниже, готовясь к дворовому лету, он ещё помнил о комнате, где мама и суп с фрикадельками, но все равно уже отпускал от себя маму и комнату, потому что прыгнет всем тельцем в траву, в звон воробьев, мух, комаров, июльские дразги двора. «Нужно бить немцев за красных, - сказала Таня. - Или ты не пионерка?» Луч света полоснул его из мутного подъездного окна. На немце вспыхнули волосы, пушок на ногах.

Оленька вспомнила ясно кровавые фильмы о диких зверях - фашистских захватчиках. Все перепуталось страшно, все задрожало в Оленьке. Вот он стоит, окутанный облаком фашизма. Фашистский немец на наших ступенях. Они поймали немца. Он не думал о нас, пока мы не взяли его руками. Он посмотрел удивленно, туманно, с усилием, между летом и мамой его заловили две пионерки. Все самое главное происходит летом. «Скажи, что ты фашист, - сказала Таня, - тогда мы дадим тебе пинка и отпустим». «Мы тогда отпустим», - сказала Оля. «Или заплачь», - прибавила Таня. «Я не фашист, - сказал пленник, - а вы сволочи». - «Такой маленький, и ругается», - удивилась Оля. «Признай, что ты немец», - сказала Таня. «Что фашист!» - уточнила Оля. «Я не фашист, я красный командир», - сказал он им, готовясь умирать, пуговка отлетела от рубашки. Им пришлось отпустить его, румяного от терзаний и затвердевшего в их руках. Они не умели пытать, кроме пинков и пощечин. К тому же не верилось до конца, что это фашист. Он побежал сразу во двор, понес свои слезы. «Ты видишь, он даже не заплакал, - сказала Таня. - Он знает, что он фашист». Им ничего не было. Фашист ничего не сказал маме-фашистке.

Оля опять отошла от Тани и больше к ней не вернулась. К Тане брат вернулся из тюрьмы, стоял красивый, взрослый мальчик у двери, курил хмуро. Тайна появилась. Исподлобья. Здраваться было не принято. Красивые были дети. Угрюмые. У них была тайна, но больше к ним не хотелось.

Блеск смыло ветром, и оно засветилось самим собой, своими запасами, из кромешной пучины себя подымало вверх, померцало. Потом опять на него полили солнышка. Слюдяной пленкой затянули до следующей тучки. На молу был человек - ниже всех людей, кроме детей, он был ближе всех к морю и, странно, к небу. Тот человек каждый день измерял длину моря до неба воспаленными злыми глазами. Однажды он как бы присел на корточки от страха жизни и больше не смог выпрямиться. Он не мог жить с людьми в таком виде, и он стал тягаться с морем упорным дыханием своей груди. Морю не нужны ноги, и оно не может уйти. А человек, даже без ног, каждый день приползает на мол на своем деревянном устройстве и дышит горячим сипящим дыханием над морем. Море похоже на полет. Теперь, когда человек этот стал меньше всех, кроме детей, его глаза разбиваются о чужие ноги, о грязь земного асфальта, о мелкие камни и потеки на стенах. Но дети растут, и для них во всем нижнем мире разбросано много игр, а этому взрослому, тяжелому полчеловеку нечего видеть здесь. И он уползает к морю, чтоб глядеть, пока не защиплет глаза, пока не увидится, - оно легче неба. Да, в этом можно летать.

Оленька, занемогшая от своей грусти и пустоты, решила полечиться. Ей дали телефон дорогого врача по нервам и общему жизненному тону. Оленька позвонила, и Алла Сергеевна властно сказала приехать. Оля поехала к доктору. Ей сразу понравилось - весело от красивых вещей. Гладко обожженная кварцевой лампой, Алла Сергеевна дорого пахла. И роз было много и собачка. И веселый коричневый блеск нарисованных глаз дорогого врача. Они стали есть конфеты, и каждый раз на телефон Алла Сергеевна сердилась, чтобы Оля думала - она интересней всех звонков. Эта уловка ей тоже понравилась. И нравилось не говорить о недуге, по чуткой привычке детства отлынивать от главного. Словно, когда это сделаешь (главное), какая-то сила уйдет из груди навсегда. Было заметно, что Алла Сергеевна все же приступила к своим обязанностям. Она наблюдала за Олей, за её разговорами, вела её по темной истории квартирной кражи, а сама следила, следит ли Оля за разговором. Не сильно ли ослабла её голова, откатилась от жизненных дум, может ли ещё участвовать, думать как все? Если так, то можно лечить, вернуть радость человеку.

— Они украли у нас все: кольца, броши, браслеты. Два японских ковра. Да, часики белого золота с вкрапленными бриллиантками, какие-то шубы, дубленки разные. Нам, в буквальном смысле этого слова, нечего было надеть. Вот уже три года прошло, а мы чувствуем ту кражу.

— Мне кажется, что они знали, что у вас все это есть.

– Я успела надеть колечко и ушла в нем. Остальное - им. Я люблю красивые вещи. Это было видно. Милиция сказала - берите, что хотите, все равно пропадет. Там у них вазы, магнитофоны. Мы не взяли чужого. А наше ничто не нашлось. Мы потом уж догадались, что они не искали. Такой длинный список дорогих вещей.

– Вы знаете, хорошо, что не взяли. А то милиция вам попалась какая-то странная.

– Да, да! Здесь был суд, и судили начальника милиции и прокурора. У каждого из них на квартире нашли по 50 килограммов золота!

– Алла Сергеевна, я думаю, что они сами вас обворовали.

Алла Сергеевна стала Олю лечить дорого и весело. Понаписала рецептов, трав, настоев. Продала лосьон для лица. Кварцевую лампу. Сбивала ей крем для кожи из редких индийских трав.

«Я верну себе тонус жизни. Все такое дорогое здесь. Собачка - тельце тоненькое, а шерсти много, нежной, промытой душистым шампунем. Я глубоко войду в спираль деловых денежных связей, сблизюсь с этими людьми, буду жить телефоном, услугами, драгоценными лепестками заграничных одежд. На коленях такая собачка, глубокий диван. Я красивая. У меня будут богатые мужчины. Я выйду замуж за итальянца. Собачку возьму в Италию».

Впрочем, ведь она же бывала уже замужем. Муж Алик ей очень нравился, нежный и смуглый, он Олю любил, прикасался к ней почаще, ласково все выполнял. Они жили на даче, подальше от всех. Зимой дачу совсем заносило. Тихо сидел Алик у приоткрытой печки. Тихо падал снег за окошком. Ветер постукивал калиткой. «Нет у гостей, - поняла Оля. - Жизнь встала. Но здесь тепло и любовь. Там снег, движение электричек и ветра. Что-то печальное бродит за соснами. Здесь все дома без жильцов, только в нашем огонь, запах еды, разговор. Можно жить здесь, пока юность не выйдет из тела и станет заметно, что мало денег и нет положения в обществе людей, и нужно искать новой опоры».

– Мы будем с тобой всегда, - торопливо сказал ей Алик.

– Откуда ты знаешь, какая будет жизнь? - удивилась Оля.

– Нет, ты что? - испугался Алик.

– Мы тысячу раз изменимся, - любила она говорить.

– Ну уж себя-то я знаю, - отвечал ей Алик.

А первым изменился он. Оля стала замечать, что Алик стал каким-то пугливым, трепетным. Словно в тихом течении их жизни он расслышал чужие голоса. В их обеззвученной жизни особенно сильно вставал каждый шорох и всхлип. Алик плакал, таясь от нее. «Ну ездил бы к маме», - думала Оля. Алик стал прятаться, избегать её взгляда, обреченно склоняясь над чаем. Хоть печка по-прежнему жила ради них, посреди загородной вьюги жаром их грела, и кошка жила у них, и еды им хватало, но вот случилось. Однажды ночью Алик увидел сон.

Видит стеклянную залу, вход, как в гостинице, - плавная темная дверь. Алик входит и видит - выставка не выставка, торжественно. Светло, и стоят на черных тумбочках стеклянные звери дорогого, цветного стекла. Остро кольнуло в груди красотой этих изделий.

Но вот взгляделся Алик - зверье шевельнулось, украдкой меняя усталую позу. Звери те были живые. Кошки, чайки, медведи, лисички, ползучие твари, скорпионы и львы - все дышало, пульсируя, чудо-стекло. Алик брел, замороженный и потрясенный своими огромными чувствами. Зала расширялась, как даль, звери не повторяли друг друга стеклянным свеченьем, животной ужимкой, породой и мастью. Алик был очарован и пойман. Он ещё мог поглядеть вправо, где в окне мутно, но все же угадывалась настоящая жизнь теплых людей. Но он не смотрел туда больше - и сомкнулось окно. Звери освоились и зарычали, забулькали, засвистели. Не скрывая больше движений, бесстыже стеклянную плавность они проявляли, придавая стеклу немислимую дрожащую гибкость. Все пело и откликалось в Алике: «Конечно, так и есть», - благодарно шептали побледневшие губы молодого мужчины. Они пока что не спрыгивали со своих табуреток, но глядели в упор на него, проходящего, поворачивали вслед за ним морды, сверкая осками, ласково лапами загибая, тягуче, призывно урча. Он ещё понимал, чувствовал в этом гадкую роковую ловушку. Но вот зал стал понижаться и в глубь уходить, в легкий синеватый сумрак. Алик немедленно скользнул по наклонной в ту глубь. И он видит овальную комнату, в торжестве на зеленой сверкающей тумбочке покоится черная юная кошка - пантера, принц этих мест. И Алик склонился. Пантера встал на прекрасных и сильных ногах, стон восторга прошелся вокруг, так был прекрасен черный принц кошачьей породы, так властен, так мал, так умело умещался в самом малом пространстве, в ладони. И Алик дважды склонился.

Приближенный к принцу. О, только ты не уйди, прекрасный пантера, сверкай и потягивайся на своей изумрудной тумбочке. Разевай красный ротик, черный мой господин, требуй живого мяса и жертв, ты лучше всех! Аплодисмент разбил сон. Алик проснулся навеки чужой.

Оленька как-то увидела Алика в городе. Среди прохожих он сильно замечен был. Оля чуть не заплакала: белесая тубетейка зачем-то на грязно-отросших его волосах, свитых в тугие кудри, щетина на впалых щеках, сутулый и шаркал, как старенький. И упорно смотрели два темных глаза сквозь проходящую жизнь.

Ночь юга темная. Ночь влажная и густая. Ночью видно, что земля юга живая. Оля сняла сарайчик на горе, на самом верху, шесть остановок одинокий автобус петлял до сарайчика. У хозяйки было много жильцов, Оля поздно вставала и поздно приходила - не всех жильцов знала в лицо. Во дворе стоял стол, набухший от ночных дождей. Вечером над столом зажигали лампочку. Отдыхающие играли в карты. Оля из своего сарайчика слушала их разговоры. Часто говорили про страшное. Женщина-мать из шахтерского города Макеевка, вечером после игры, причесывала накупанную дочку младшего возраста, угрюмую и почти немую девочку с невесомыми волосами. Делала специально далекий, тягучий голос и начинала сладко испуганным детям: «Еще был такой случай. На окраине был кирпичный завод. Там в печах обжигают кирпич. Печи такие, ну с дом, не с этот, а с настоящий, большой. В них обжигают кирпич. Там остается сторож на ночь. А однажды он не спал и что-то почуял, и пошел посмотреть, почему одна печь светится огнем? Как так, что её не погасили на ночь? Он подошел и услышал крики и плач. Видит, двое мужчин тащат девушку. Девушка была настоящая красавица. У неё были большие голубые глаза и длинные белоснежные волосы. Девушка была связанная и почти не могла отбиваться. Один мужчина взял кочергу и открыл печь, из которой хлынул огонь. Они стали подталкивать девушку к печи и не заметили, как она уронила сумочку, она нарочно отбросила её подальше, и сторож видел, в какое место она упала. Мужчины кричали, матерились и били девушку. А она плакала, связанная, и теряла силы сопротивляться все ближе и ближе к горячей печи. Наконец эти мужчины подтащили её к самому пламени, и сторож в последний раз увидел, какая она молоденькая, и так ему стало жалко ее, что он вышел из того места, где прятался, и девушка тоже увидела его. Так они посмотрели друг на друга, а мужчины ничего не заметили, они боролись с девушкой, подталкивая её к огню. И девушка встретилась глазами с глазами сторожа-старика и показала ему глазами, что ей очень страшно, и потом немного кивнула ему головой, где лежала сумочка. И сторож кивнул ей, что все понял. Мужчины затолкали её в горящую топку, а сторож от страха закрыл глаза, чтоб не видеть, как девушка будет сгорать, и забыл спрятаться. И только слышал, как стукнула заслонка, которую мужчины закрыли за девушкой, и огонь на минуту притих, а потом застонало из печи так страшно, и тут огонь заревел, а мужчины бросились бежать, они даже сторожа не заметили, убегая от своего злодеяния. Потом сторож видит, что они уже ушли, и побежал, взял сумочку с документами. Потом открыл печку, но из живых там была только брошечка. Сторож заплакал, взял горячую брошечку и пошел в милицию. По этим вещам милиция разыскала сжигателей. Сторож их сразу узнал. Оказалось, что они проиграли девушку в карты, но сжигать её они не хотели, потому что она была очень красивая и они её любили. Но главарь сказал, что они не имеют права нарушить закон, и им пришлось её сжечь. Они во всем признались, они стали оба седые с той ночи и сами указали всю банду до одного».

Ночь, чужая, роскошная, слепо плещется спелыми листьями. Оля чуть дышит во влажных простынях. Дети за окошком задумались. Им жалко сгоревшую девушку, им радостно, что бандитов казнили.

Женщина из шахтерской Макеевки ждет целый год, чтоб привести дочку на море. У них там нельзя дышать, в легких уголь. Женщина загорелая, недоверчивая. Очищает легкие морским воздухом, не верит, что маленькой дочке удастся вырваться из Макеевки. Оля один раз подошла к её дочке: «Как тебя звать, девочка?» Девочка гневно глянула на нее, отбежала. «Гала, - позвала женщина, - иди ко мне, доча». Девочка спряталась у матери. «В каком она классе?» - дежурно спросила Оля. «В третьем», - неприветливая, призналась мать, загородила Галу руками. «Мама, ты ей не говори». Оля засмеялась: «У вас пугливая дочка». «Гала, пойдём отсюда», - женщина увела свою дочку. Оля посидела одна на лавочке. По столу, разбухшему от дождей, ползет большеголовый мотылек ночи. Кто-то забыл купальную шапочку. Гала забыла. Подкралась. Оля, как будто не видит, прикрыла глаза. Гала помедлила, но жалко свои невесомые волосы - намокнут в воде, слипнутся - цапнула шапочку. «Хоп! Попалась, Гала?» - «Пусти!» - цокнули

зубы на Олиной белой руке. Оля, удивленная, раскрыла руки, звероподобная Гала выбежала с шапочкой. Что за город Макеевка? Где это?

Вышел хозяйкин сын Костя с машинкой. Он любит конфеты, машинки, у него есть железная дорога, мечта всех детей. Оля складывает ему самолетики из бумаги. Костя восхищен. Летают, как бабочки. Один раз Оля сделала ему из бумага лягушку. Костя не понял. «Это как будто лягушка. Вот видишь, рот огромный. Ква-ква. Смешно». Костя не понял. Оля заскучала с мальчиком, забеспокоилась, от его сонного состояния души хотелось самой заснуть где-нибудь в сене, чтоб сквозь сон запахи деревни, хлеба. Этого нет, здесь юг, здесь все другое, вон у Кости на блюде черные вишни, одна ягода лопнула, розовым окрасила воду в блюде.

Костя зорко следит. Он знает, что они уже знают про его сонную душу, но где-то в ней, в её детской ленивой слабости, тлеет жаркий уголек, иногда покусывает мальчика, отзывается в дымных Костиных глазках. Конечно, когда другие мальчики начинают возиться, Костя отходит со своими машинками в сторону, но, когда вечером садятся играть в дурачка, Костя часто выигрывает. Косте 15 лет. Выросшие дети съезжаются летом опять, даже Гала меняется за зиму, упорно тянется вверх, всей собой. Мать Кости тревожно грустит от взрослеющих чужих детей. Костя играет в машинки, а Андрей уже особо причесывается и просит вечером белую рубаху. Костя позовет: «Андрюшка, идем посмотреть мои поезда?» Андрей вскинет глаза на Костю, тут же опустит их, не откажет, осторожно похвалит. Но он же старше Кости на целый год - убеждает себя Костина мать. Андрей в белой рубахе склонится над паровозиком, чистый пробор в волосах. «Правда ведь, здорово?» - Костя трепещет. Колесики маленькие, окошечки. Как они в прошлом году играли, в позапрошлом! «Хорошая железная дорога», - похвалит Андрей и отойдет к большим подросткам. Уголек мерцает в серых Костиных глазках. «Но зимой нам спокойнее, - думает Костина мать, - зимой ветер, оползни в горах, дом наш гудит и трясется от ветра. Море, сырое, рваное, грызет город. Город рвет ветром и влагой. Ночью пусто в городе. Ребенок дома в тепле со своими игрушками. Сравнить не с кем. Не надо сравнивать. Сладкий, тихий ребенок катает по дивану машинки. Не уходит с подростками шляться у дикого зимнего моря».

Мчится по кругу игрушечный поезд. «Остановка! - звонко командует Костя. - Мама, поиграй со мной. Мне скучно зимой одному». - «У мамы головка болит». - «А летом другие мальчики будут?» - «А как же!» - «Опять маленькие?» - «Новые приедут. Маленькие». - «Поехали! Станция Сочи!»

Оля сказала:

– Костя, пойдём ко мне?

– Зачем? - спросил Костя.

– В гости, - сказала Оля. - Посмотришь, как я живу.

– Я знаю, как ты живешь. Моя мама тебе простыни стелет.

Оля взяла его за руку. Костя улыбнулся, потянул вялую руку.

– Пойдем, пойдём, - потянула Оля.

Они пошли в её домик.

– Садись на кровать. Он сел.

– Знаешь, почему у меня теплее, чем на улице?

Он не понял.

– Ты заметил, что во дворе прохладно, а у меня, как будто днем - жарко?

– Это от стен, - сказал Костя. - Они остывают сюда, к тебе.

– А-а, ты знаешь, - немного расстроилась Оля. Огонек мерцнул в серых глазках.

– Это простое, - прошептал мальчик.

Оля засмеялась: «Твои глазки кусаются иногда».

– Тебе нравится в школу ходить?

– Да ну, - сказал Костя.

– А друзья у тебя есть?

– Да ну, - и захотел уходить.

– Подожди! Мы сейчас будем играть.

Он не поверил.

– Чем будем играть? У тебя ничего нету.

– А это вот что? - она протянула мальчику толстую косметичку.

– Красивая сумочка, - сказал Костя, понравился вышитый бисер.

– Открой! - приказала она, выпрямив спину, чтоб не заметил, как дрожит вся. Он открыл.

– Тут украшения, разные цапки. Это все для девчонок.

– Ты понюхай.

– Ого-го! Как цветами пахнет! Даже сильнее!

– Я же тебе говорила!

– Ну и что?

– Тебе нравится?

– Нравится. Очень нравится. А что ты брошки не носишь? У тебя на руке одно только колечко.

Оля покрутила колечко.

– Оно не снимается.

– Оно простое у тебя, без камушка.

– Я его всегда ношу, с самого детства. Такое колечко.

– Совсем простое.

– Ты не смотри на него.

– А зачем тогда носишь?

– Чтоб не потеряться. Он засмеялся.

– Да, чтоб всегда было видно, что это я. Как птица. Она улетит куда-нибудь, а её по колечку узнают - это та самая птица...

– Так не бывает, - сказал мальчик. - Птицы с кольцами не летают.

– Ну хорошо, ну пускай. Будем играть. Давай с тобой украшаться, как будто мы две царевны.

– Я же мальчик.

– Мы понарошку.

– Давай.

Оля открыла тюбик с помадой. Подкрутила, чтоб алый стержень вылез из золотого патрончика. Стала осторожно подносить к его рту. Зрачки у мальчика потемнели. Он сглотнул.

– Что будешь делать?

– Закрой рот.

Он закрыл.

– Не напрягай губы.

Она потерла ему губы красной помадой. Невозможно вспыхнуло молоденькое лицо. Оля сама обомлела.

– Как красиво. Мне хочется так же.

– Давай, я помажу тебе.

– Нет, ты так не сумеешь. Нужно губами.

– Моими?

– Да. Только ровненько, чтоб не размазать.

Глазки заволокло серой дымкой.

– Нам нельзя. Мы ведь разные.

– Как это разные?

– Или два мальчика, или две девочки. А нам с тобой запретят.

– Глупость. Я не девочка, я тетя.

– Ты не тетя, ты девушка.

– А ты будешь юноша. Юноши все так делают.

– Ну давай, только ровненько.

– Чтоб не размазать.

– А ты рот закрой. Я же закрывал.

– Так я ж тебе помадой, а ты мне губами.

Он прилежно прислонился губами к её приоткрытому рту. Хотел отстраниться, она придержала его ладонью за шею. Побыли так. Убрала руку, мгновенно отпрянул. Смотрит исподлобья. Сейчас убежит.

– Посмотри, ровно ты мне покрасил? Не размазал? Он не верит, следит за ней взглядом.

– Ты, наверное, размазал. Я так тебе ровно покрасила! Ты так мне размазал!

Он перевел мрачный взгляд на её губы. Опять на глаза.

– Мы играем или нет? - рассердилась Оля.

– Я немножко размазал, - согласился он.

– Сам стирай, - сказала она обиженно.

Он стал водить пальцем по её губам. Рот приоткрыт от усердия - припухшие от поцелуя губы в следах помады. Пушок над губой у него. Она взяла и поймала его палец губами. Он опять испугался.

– Укусишь?

Оля смеется ему глазами, чтоб успокоить. Потерлась языком о палец.

Он сказал:

– Щекотно.

– Ну ладно, иди.

Она его отпустила.

– Подожди, я тебе вытру.

Вытерла ему рот. Он не уходит, разглядывает её подробно.

– Иди, я кому сказала!

Он сжался, ушел.

Она сплюнула в платок его слюну. Все равно остался во рту вкус дешевых конфет. Розоватый привкус карамели с повидлом.

Можно растягивать время до вечера. Вечером придумывать, как заманить мальчика. Так играть, пока не поймают. Море, умой меня добела, до смерти, до белых костей промой воспаленную плоть мою. До спутанных нервов. До костного мозга. Насквозь.

Вот на пляже старая толстая старуха-еврейка с красивенькой внучкой ещё не проявленной внешности. На внучке изящная рукодельная панамка с букетиком. Трусики. Золотистое тельце с детской ещё неуклюжестью. Холодные вишенки глаз. На старухе черная коса примотана, залысины тоже промазаны черным. Красным намазаны губищи. В столовой все хватает. Хачапури все перемяла пальцами. Говорит громко, весело, наслаждаясь, что одну её слышно в черном купальнике на толстоговорящем пузе. Простые люди в очереди стесняются ей сказать, чтоб не хватала руками, тоскливо почесывают голые спины, не могут не глядеть на большую старуху-хваталку, невольно её уважают за громкость. Внучке скучно. Наученная надменно оттопыривать прелестную губку, прыгает на одной ножке. Потом на другой. Скучно. Взяла, оттянула сзади трусики, почесала белую попку. Старуха пробилась к последней курице, всем объяснила, что Оля самозванка, что здесь не стояла, что не смеет тянуться к жареной курице, это старухина курица. Оле досталась подгоревшая колбаса, как остальным голым людям простым. Оля взяла, ущипнула внучку за попку. Внучка забыла холодно посмотреть из-под ажурной панамки, разинула рот в изумлении. Оля ей показала зубы. И внучка чуть-чуть улыбнулась, не как шестилетняя.

«Ну не дура ли я? - встревожилась Оля. - Какая- то шмакодявка-внучка, и та мне дала отпор. Ну что же я лезу к ним ко всем? Терпеливо съем колбасу с обгорелым боком и пойду, сделаю маникюр. Пусть мне приснятся сегодня, кто обо мне думает... Ночью. Когда одна я».

Купается с маникюром. Белая кожа.

– Девушка, вы сгорите.

– Ну, хорошо.

– Вы сегодня приехали?

– Пусть сегодня.

Юг детства, какой ты далекий. Вернись ко мне. Вспомнись. Худые кости, сильное море, восторг.

Если вечером идти в гору пешком, дорога белая даже во тьме. За живой изгородью светятся места, где живут люди. Их разговор, хорошо процеженный чистоплотными листьями, ласково касается щек моих. Я люблю проходить мимо них, все выше и выше. Они совсем не боятся смерти. Они смеются над радиацией протяжным хохлатским смехом. И роскошный корабль затонет позже, когда я уже буду не я, одно только колечко терпеливо докажет - вот, это ж она! Она видит корабль в порту. Раз в неделю он приходит, красавец с белой грудью. Где был - не скажет. Молчит. Дорогой, светящийся, с тихой музыкой из душистых салонов. Те, кто взял на него билеты, им ещё жить целый месяц в светлых местах за черной живой изгородью. Они протяжно смеются над радиацией, розовые билеты сложив в кошельки. Дети в казенных трусиках ходят с пионервожатой у моря. «Дети, придерживайте пилотки от ветра». Украинские дети придерживают, очарованные морем. «Это море мы отбили у турков. Это море - часть нашей родины. Дети, вам нравится море?» - «Нравится!» Иногда одного ребенка начинает рвать. Это он

перегрелся, он ходил без пилотки. «Не надо меня увозить, я ходил без пилотки, перегрелся, и рвота от солнца». Его увозят. Он больше не вернется. Он, побледневший, смотрит с тоской на детей (прощаясь с товарищами) и на море. Он улыбается, потому что ему все равно не понять, как прощаются с морем. Как его не станет на свете? Он вот он. Вот он все видит. А когда начнет его не ставать, он впадет в забытие и не заметит, как его постепенно не стало.

«Гордый хлопец не боится радиации, - говорят эти всемирно известные дети, морской ветер их обдувает. - Нехай она носится в воздухе, её ветром прибьет, а мы будем купаться в море. Прощай, Петро. Прощайте, хлопцы. Возьмите мою пилотку. Отдайте маме».

Я буду идти на самый верх горы, до смотровой башни. Оттуда все видно. Страшные парни иногда выступают из тени, смотрят, колеблясь, - прыгнуть? Надо проходить медленно и не смотреть на них. Застонут за спиной. Не прибавлять шага. Все выше и выше дорога. Пропадают дома. Каменная стена и обрыв - а посередине дорога. Я заблудилась? Но здесь всего одна дорога. Вот кончилась стена, опять пространство, пустыри какие-то. Радиостанция в сетке. Почему я думаю, что там, за сеткой, много стрекоз? Это из детства. За голубыми сетками самая жаркая трава. По ней много ходят, потому что в глубине стоит радиостанция, или ещё что-нибудь, огороженное красивой голубой сеткой. Самая возжеленная трава всегда за нарядной сеткой. В ней много кузнечиков, а над нею стрекозы, голубые, как сетка. Туда не пускают. Нужно идти дальше. Немного осталось. Чуть-чуть вперед - и верх горы.

Вот она - смотровая площадка. Откуда видно весь город. До моря. Он стекает с горы, мигая, пульсируя, в черных провалах парков, в сверкающих глыбах гостиниц. Отсюда его не слышно. Что мне этот город? Город-шлюха. Всю зиму тоскует неряшливо-рванный от бурь, считает ночи до летнего наплыва тугой молодежкой толпы. Что он мне? Зачем я сюда забралась? Почему он так смотрит сюда? Куры-гриль и десертные кремы, наивны твои соблазны, пластмассовые серьги у черных грузин на продажу. Робость японских мимоз, сквозящих на зное. Здесь черно, не видно ни кур, ни мимоз. И здесь я одна смотрю на тебя вниз. Смотровые площадки придуманы, чтоб люди забирались проверить, как они там живут. Как это видно сверху? Ищут свой дом. Счастливы находят - хорошо видно дом среди других таких же. Даже лучше, богаче клубится наш сад. Мы живем хорошо в центре сада.

Я не знаю, какая во мне зародилась болезнь. Что за грусть, несильная, но упорная? Что за испуг от каждого встречного взгляда? Я теряю голос, я боюсь слышать чужие слова, мне тяжело отвечать. Я боюсь что-нибудь ляпнуть не так. Я стараюсь слушать, как надо говорить у людей, и во всем им подражаю, но забываю добавить какое-то важное слово в беседе, и все летит прахом. Если б это было не опасно, но я чувствую, как все тяжелее дается мне жизнь. Чтобы что-то купить, я боюсь подойти, отсчитать свои деньги, взять продукт. Чтобы куда-то пройти, я боюсь подойти и спросить. Скоро не то, что куры, а камни станут мне недоступны. Даже травка. И ту мне как будто бы трогать нельзя уже. Потому что я стала говорить совсем тихо и ничего не могу потребовать. У меня много денег, но мои деньги почти ничего не значат, потому что я подаю их робко, как простые листики, и боюсь смотреть, какие вещи дают мне за них. Скоро не то что камни, а сам воздух станет мне недоступен, потому что им дышат другие, громкие люди, а я говорю очень тихо, мой голос меня покидает. Я худею. Моя кожа не может загорать, остается белой, раскаляясь от солнца и соли, она матово-белая, как стекло. Только гибкое. Шахтерская девочка громко сказала: «Она плохая. Мы черные, а она белая». Галю солнце не греет. Она-то сидит со своей мамой - обе черные в светлом месте для жизни. За столом, разбухшем от ночных дождей, в дурачка играют. А я стою здесь одна ночью, в этой башне, ищу их, где они там, внизу? Внизу город, полный всего. Хочется мне смотреть на него? Не особо. Пойду вниз, доживать свою жизнь.

Она не услышала звука, но вдруг поняла - по движению воздуха - теплой волной в спину - от стены отлепился кто-то, кто здесь тайлся давно, незамеченный ею, он успел разглядеть её всю и теперь подошел, склонился над городом рядом с нею, забывшей вдохнуть.

— Свежо здесь, - сказал человек.

Сначала зарождается ненормальность, вроде твоей болезни. Накапливается в организме. Тянет в себя огромную энергию, видишь, ты даже загорать не успеваешь, все идет внутрь. А твоя грусть, это только нетерпение от медленной жизни. Ты осторожно пробуешь себя новую на разных предметах и людях. Ничего не выходит. Все жухнет от твоих пытливых касаний. Не с кем играть. Тогда ты остаешься одна, на самом верху горы, выше всех и печальнее всех. Все.

Последний щелчок. Ты готова для нового. Все другое, невыносимое для обычных людей, придет к тебе, чтоб играть. Так ты ждешь.

Оленька осторожно посмотрела на человека. Вялые волосы над лысеющим лбом, две «добрые» морщины у губ. Человек смотрел широкими глазами вниз, на город. Ей даже показалось, что она ослышалась. Темное от загара лицо человека было спокойным, не грубым. Это просто прохожий. Шевельнулся. Нет, не просто. Человек медленно перевел взгляд с города на нее, на Олю. Медленно показывая, постепенно, свое лицо. Взгляд в упор, как не совсем нормальные люди, «чудаки», художники, ну, которые смотрят, как дети - в сердце глаза. А в его собственных широко, красиво разлегся нижний город. Оля даже забыла бояться, глядела, пока картинка не опустилась на дно глаз. Два маленьких города в двух влажных глазах - было и нету.

– Вам нравится здесь? - Голос приличного человека. - Вы что, боитесь? Ну хорошо, а зачем тогда вы одна ночью здесь ходите? На самом верху горы?

– Да я не боюсь, здесь просто холодно.

– Ну хорошо, я поверил.

– Хорошо, что вы поверили, а то я расстроилась.

– Да нет, я просто подумал, может вы ищите приключений и ходите.

– Да нет, я не ищу приключений, я просто хожу. Все-таки можно же ходить по земле, в конце концов. Она же для всех.

Человек хорошо посмеялся. Стало тепло, захотелось дружить.

– Я вообще-то болею. У меня что-то внутри дрожит все время.

– Это я понимаю. Это неврастения.

– Неврастению можно лечить. У меня дрожит глубже, туда таблетками не залезть.

– Пить пробовали?

– Рвет.

– А коньяк?

– Я же сказала: рвет. От крупной еды рвет. А уж от этого...

– Зачем вы сюда приехали? Здесь все празднуют.

– А куда мне деваться?

– Возьмите справку, что вы психованная. Я серьезно. Сейчас многие ходят с такими справками.

– Ну зачем она мне?

– Если вы что-нибудь вытворите.

– Да я же сказала: я всех боюсь. Я потому и лезу в темные места, чтоб пересилить страх. У меня страх от людей, понимаете? Даже от Галы.

– Кто это?

– Да это одна баба, кассирша в столовой. Все время обсчитывает. Заезаешься, она с тебя рубль...

– Да плюньте вы на этот рубль.

– Так я плюю. Так меня ж рвет. Вы, наверное, сам псих. С вами получается говорить такое.

– Я со справкой.

– А у вас какая болезнь?

– Просто псих. Неважно.

– Видите, боитесь назвать свое отклонение. Значит все-таки манит вас норма. Зачем тогда справка. А вы-то сами что тут торчите? Мужчину тоже ведь могут кокнуть.

– Да я не знаю. Я гулял.

– Хочется говорить людям смертельное. Чтоб самой надорваться. Понимаете?

– Оскорбления, что ли?

– Ну, примерно. Смертельное. Я не могу объяснить. Ну чтоб потом надорваться, а то внутри все обмороженное. И от всего рвет. Как будто бы внутри ничего нету, одна только рвота. Ну хочется, чтобы что-то внутри шевельнулось. Допустим, я кого-нибудь кокну, а у меня внутри все обольется кровью ужаса и сострадания.

– Попробуйте кокнуть меня.

– Вы не дадитесь. К тому же вы сами растленный. Ведете такой разговор.

– Таких очень много.

– Я думала, я одна.

– Нет. Их все больше и больше.

– Тогда ещё хуже. Я думала, меня можно уничтожить, как гадину. А раз нас таких много...

– Знаете, может быть, вы и не плохая.

– Когда от всего рвет? А потом, я же помню - хорошее и плохое. Были названия. Просто очень. Давно только. Только названия помню.

– Ну, например?

– Ну, чтобы мир на земле.

– Ну вы что, как неграмотная, газетой заговорили.

– Ну, чтобы добрые, вежливые. Я не знаю. Не помню. Главное ведь, ничего такого не стряслось. Жила и жила. У меня даже денег много. Причем честные деньги. И этот был, Сережа, начальник и любовник. Ну все, что надо для жизни. Я в полном отчаянии.

– Ну смотрите, вам было плохо, вы пришли, вам удалось поговорить. Не так уж мало.

– Сейчас пока да. Это правда. Спасибо. Но боюсь, что не хватит. Начну трястись. Вот уже начала. Я пошла. До свидания.

– Если хотите, ещё увидимся.

– А что вы можете предложить? Прощайте лучше. Пойду доживать свою жизнь.

– Все-таки вы милая. И я не верю, что рвет и трясет. Просто неврастения.

– Потому что вам нравится, вам тепло... Это голос из тела. Я говорю с вами своим голосом из моего тела. Оно ещё молодое, милое. И другого голоса у меня нет. Но помимо этого дрожит внутри... сильно...

Она успела отойти пониже, в гущу деревьев, сошла с дороги, легла на колючую траву и полежала, пока тошнота не прошла, пока не утихли виски и блуд разговора не вышел из крови.

Пришла домой. Лампочка ещё горела во дворе. Удивилась, что ещё не спят.

– Здравствуйте, мы из-под Гомеля. Сегодня утром приехали. Уже обгорели, особенно Лена. А вы тоже недавно? Вы тоже вся белая.

– Я тоже вся белая. Не могу загорать.

– Я же говорила, нельзя так сразу. У Лены плечи обгорели.

– А из-под Гомеля, это откуда?

– Да вы не знаете, у нас маленький городок. Ну Гомель-то вы знаете? Мы с детьми приехали, а вы?

– А я одна.

– Сейчас Лена из душа выйдет, у неё плечи обгорели. Меня зовут Аня, а вас?

– Меня Оля.

– Я в медицине работаю, нам дают путевки, но я захотела с Леной вместе поехать. Нам теперь все время путевки дают.

– Почему?

– Ну, как? Мы же рядом.

– Ах, да, да!

– Нас даже выселяли в этом году... а теперь назад заселили. Ну, как выселяли, всех детей школьного возраста отправляли на курорты.

– Почему только школьного?

– Потому что маленьких надо с родителями, а как же... некому останется работать. У нас там мясокомбинат. Нефтебаза. Бросить нельзя. Вот, Лена, она на мясокомбинате, а я в медицине, я сестра экстренной хирургии. А у самой зоны, ну, знаете, там вообще некому работать, там вахтенная работа, по неделе, по месяцу посылают. У них учителей нет, врачей.

– Аня, а вы не боитесь?

– У меня муж боится. А я не знаю. Там же все. Но много стало переломов. Особенно в этом году.

– Не поняла.

– Стронций в костях оседает. Много ломают ноги и руки. Я же в хирургии, к нам везут. У меня у дочки волосы стали выпадать. Я не знаю... У нас ведь у всех дозиметры, нам выдали. Мы измерили - доза завышенная, мы пришли в горсовет, сказали: для наших детей завышенная доза. Нам сказали, это не ваша компетенция. Вам выдали продукты замерять, а другое не трогайте. Хотите киселя? Я сварила утром.

– Хочу.

– Сейчас Лена из душа выйдет, принесет. Он в комнате стоит.

Лена выходит.

- Здрасьте, очень плечи болят.
- Вы обгорели, мне Аня сказала. Надо помазать.
- У меня есть земляничный крем, посмотрите, как пахнет. Правда же, похоже?

Лена снимает халат по пояс, терпеливое, рожавшее тело с выпитой грудью, широкий живот.

- А где обгорело у вас?
- Повернулась спиной. На шее слабые колечки волос.

- На, Аня, помажь.
- Можно я? Я умею.
- Помажьте. Спасибо вам.

Крем пахнет земляникой. Осторожно касается горячих плеч, чтоб не затронуть колечки волос.

- Подберите волосы.
- Вы сильнее втирайте, я потерплю. Мне не больно.
- У вас волосы сами вьются?
- У меня вообще не вьются.
- Ну вот же, на шее, колечками.
- Это от моря.
- А вы правда на мясокомбинате работаете?

- Да.
- Там у вас бойня?

- Бойня есть.
- Это страшно?

– Вы знаете, привыкают. У нас ведь есть женщины, которые по двадцать лет проработали. Они, правда, пьют сильнее других цехов.

- Я вообще не знаю, как ты там работаешь.

– Знаешь, Аня, надо привыкнуть. Я, например, не могу видеть крови. У вас в операционной крови.

– Ну, неправда. Ну вот ведь неправду говоришь. Делают надрез и сосуды сразу же зажимают специальными зажимами. А у вас кровь, в сапогах ходят.

- Это другое совсем. Надо просто привыкнуть к работе, ты не права.

- Я бы к твоей не смогла.

- А я бы к твоей не смогла.

– Ну хорошо, ну я все понимаю. Ну раз там, вы сказали, этими приборами замеряют, и сильная радиация, почему вас не выселяют?

- Ну у нас же мясокомбинат. Его же нельзя бросить.

- И нефтебаза. Ой, да, кисель же! Лен, принеси киселя!

Принесли киселя.

- Он очень вкусный. Здесь вишни и яблоки.

– Да! - сказала Оля. - Пахнет, - взяла чашку губами, потом отстранилась. - Вы ягоды здесь покупали?

- Нет, мы с собой привезли.

- Я... простужаюсь... Пусть он согреется.

- Он не в холодильнике стоял. В комнате.

- Я... пусть он постоит, - побежала с чашкой к себе. Медсестра побежала за ней.

- Он же на окне стоял.

- На окне сквозняки, а я простужаюсь.

Встали в свете, медсестра поняла, опустила глаза, вышла молча.

Оля села на койку, чашку держит в руках, черно-красный кисель из городка «вы все равно не знаете, он маленький, под Гомелем». Глаза медсестры, терпеливые плечи подруги, запах земляники. Олечка вдруг диковато хихикнула, сама испугалась нового в своем голосе. Выпила тягучую влагу, черноватую. «Пьют кисель на поминках. Хорошо бы, они увидели, что я его выпила. Бесполезно. Завтра они все равно меня разлюбят. При свете дня. Как все остальные жильцы».

Утром всех проспала, последняя пошла купаться. Глядела, как человек на доске катался под парусом. Катался мало, больше падал в воду - вода была лучше воздуха, манила и человека и

парус. Потом пошла взять себе гоголь-моголь - мальчик в беленькой курточке продавал. Уронила стаканчик с ложечками. Испугалась, сделала строгий вид, извинилась. Поставила твердо стаканчик на место. И вдруг опять уронила, в другую сторону, все ложечки рассыпались, испачкались в беловатой воде, разлитой по стойке. Мальчик засмеялся ей ласково, нисколько не рассердился. Достал одну чистую ложечку, посмотрел южным взглядом. Она строго съела свой гоголь-моголь, очень любила доброго мальчика. Но вида не показывала.

Оля пошла в парк, погрузить под магнолией. Лучшая лавочка была рядом с Гоголем. Гоголь стоял в олеандрах. Бледный, он не смотрел никуда, зря солнце сквозь листья старалось, только нос чуть-чуть жил - в кончике носа желтела живая плоть, а сам Гоголь глубоко уснул, почти навсегда, мучимый недоступной нам мукой. Оля села рядышком, в глубину ядовитых цветов, и стала, как статуя, бледная, стала грустить и дремать. Ничто не виделось в дреме. Немного виделись ложечки - падают то туда, то сюда. От страха все уронила, а детский продавец угадал страх, дал чистую ложечку из скрытых запасов.

Немножко виделось море. Море далеко, а слышится. Нет, это листья. А пахнет так глубоко - не надышишься! А это ядовитые цветы олеандров. А Гоголь не может от них отойти? Не может. Его тут поставили для фотографирования, кто захочет. Гоголь-моголь. Мордастое здоровье смеется над Гоголем, какой он худенький, бледный. Они дразнят его. Они маленькие. Им нравится его обязательно потрогать за нос, им щекотно от этого. Обнимут своими младенцами: «Где там дядя Гоголь, улыбнись, Анджелочка (шелк!).»

Вот какие мы красивые, как мы сидели ровненько, ну пошлепай его на прощанье по щечке, прощай, дяденька, Анджелочка уходит от тебя... Девушка, а где тут аттракционы?»

– За теми розами. - (Иди, морда, в комнату смеха.)

Они отходят. И он может постоять один, в самой гуще горячих, нехороших цветов.

Легонько подкрался старичок-старикашка (выглядывал из-за роз) в кремовых штанишках, селадон-неугомонный. Приподнята бровь.

– Вы позволите присесть?

– О, разумеется. - (Вы такой дико изысканный, сразу видно, непростой старик, садись под Гоголем, посиди.)

Старикашечка любит свои ногти, они хорошо подпилены, легонько подкрашены. Такой вот старичок.

– Знаете, лгут, что кофе вреден.

– Почему? - (Я думала, мы про маникюр будем.)

– Никого не слушайте, пейте кофе, сколько хотите. Оля подумала над предложением.

– Я люблю утречком встать, открыть все окна, чтоб ветер в квартире...

– Вы за сколько сдаете?

– Чего!.. Ну как это можно! Я пускаю бесплатно. Ну вот... чтобы ветер. Сварить кофе и пить его у окна и курить первую сигарету.

Олю кольнула зависть.

– Но, говорят, он действует на сердце и нервы.

– Глупости! Глупости! Я ведь жив!

– Да, вы меня убеждаете.

Старикан спохватился, пригладился, стариковскую спрятал сварливость.

– То, что вы любите, всегда надо делать, - сказал он интимно.

Оля поглядела на дедушку с интересом. С выраженьем ума он сидел перед нею, саблезубый старик, вдохновенный и страстный, красиво шел дым из тонких ноздрей, было много мыслей и рассуждений, и легкий загар был, и красивые запонки, был неукротимый старик, чуть-чуть слезновато-мутновато обесмысленный длиннющей погоней за жизнью, присел аккуратно на краешек к чужой молодости, щас очарует. Но все равно он был живой и загорелый и слегка выпучивал глаза, скрывая склероз. И сидел на лавочке. А Гоголь стоял навечно - голова и плечи - стянуто вниз в рюмочку, нечем сидеть. Гоголь в рюмочке. Гоголь-моголь. Был бледный, глаза были ямы, ничего не скрывал. И все смеялись над ним, проходя, и дергали его за нос, чтоб стало щекотно внутри. А старика никто не дергал. Ты уляжешься в тепленькую ямку, старик, сладко протянешь ножонки, а он...

– Кофе очень полезен, - сказал надерганный старик.

– Полезен кофе?

– Полезен.

- Кофе полезен?
- Полезен!! - он взвизгнул, чтоб сдвинуть беседу. - Я покупаю кофе с запасом.
- С запасом?
- С запасом. Чтоб надолго.
- Чтобы надолго? С запасом?
- Я беру килограмм. Запасаюсь.
- Килограмм кофе?
- Вы думаете, что это много?
- Килограмм?
- Для любителя? Для ценителя? Это пустяк! Это миг! Вы смеетесь!
- Я не смеюсь, - удивилась тупая Оля.
- Я кладу пол чайной ложки сахара в кофеварку, вы понимаете?
- Ну, понимаю.
- И три, нет, четыре ложки кофе.

Оля забылась, стала тереть свои ноги, раскачиваясь и мучаясь подлой скукой беседы, не зная, в каком месте приличней всего прервать разговор и схватить старикашку за нос.

Старика потрясло, как она сама себя гладит, он задохнулся, обиделся, примолк, заволновался.

- Ну, а что ещё вы любите? - вяло спросила.
- В смятении забегали слезные глазки, краем взгляда схватил белого Гоголя.

- Ну, естественно, книги, культуру!

Оля чуть напряглась и пукнула.

Темнобурой волной залило стариковские щеки.

- Книги люблю. Поэтов. Прозаиков.
- Вы слышали, я пукнула, - напомнила Оля.
- Я должен много читать, - сказал старик.
- Для чего? - отозвалась побежденная.
- О! Это... это...

- Секрет? - догадалась бедняжка.

– Отчасти секрет, - старик нежно засветился, побеждая ее, втягивая в свой таинственный мир, молодую, пустую и наглуую.

- Ну, какой ваш секрет? Для чего вам знать культуру и книги?

- Для кругозора.

- Ну и секрет.

- Я следователь! - крикнул старик, трепеща.

Задрожала звонкая птичка в платане. Сказала какой-то пустяк и заснула.

- Вы следователь?

- Да, да. Я сразу заметил, что вы выделяетесь среди прочих девиц.

- Ах, ну это да.

– Чем-то необычным. В вас что-то необычное. - И он опять выпучил глаза. Как будто иногда ему что-то показывали. Попугать.

- Следователь, да, я следователь. О, сколько следствий!

Сухощавый и властный старик-следователь.

Немцы как раз прошлепали мимо. Одетые во все наше, укрощенные навсегда, сытые, только речь их чуть-чуть тревожила. Кольнуло тем юным фашистом.

- Вы следователь по военным делам?

- Было и это. Но больше - по шпионам.

- По шпионам?

- Ну да. По предателям родины.

Оля заморгала, впервые глядя на всего старика. Он был тверд под взглядом, скромн, свеж.

- Где же они... то есть, где вы их добываете... как это... как вы их различаете?

- Работа, - устал он простонал.

- Ну... и много их?

- Я не хочу омрачать ваш светлый...

- Ум? - подсказала Оля.

- При чем здесь ум?! Ваш светлый отдых.

– Не бойтесь.

– Это тайна.

– Ну не надо.

– Ну, хорошо, я скажу. Да, много. Вас устраивает такой ответ?

Оля опять на него посмотрела, очень сильно, чтоб хорошо рассмотреть существо. Глаза существа отдавали металлом дверных ручек. Моментально во рту появился привкус металла.

– Как вы их различаете?

– Милая девочка, милая девочка, как вы ещё плохо знаете жизнь.

– Боже мой! - поразилась Оля. - Разве жизнь можно знать?

Старик радостно захохотал. Оля увидела язык, желтый от никотина.

– Мило, мило. Жизнь можно узнать, если... множество лет ты проводишь допросы.

– Я однажды уже проводила допрос, - хмуро сказала Оля.

– Да. Их надо всегда проводить. Предателей родины выявить - вот вам задача.

– Скажите, пожалуйста, - засомневалась Оля. - А в чем их было предательство?

– Было и есть, - поправил старик и шепотом: - их и сейчас сколько угодно.

– И здесь? - изумилась Оля.

Следователь слегка кивнул ей, интимно, как, когда говорил, что делайте все, что нравится.

– Как же тут можно предать! Тут море! - волновалась Оля.

– Мерзавцев хватает, - ответил старик. - Они выдали иностранцам наши тайны.

– За деньги?

– Бывает, за деньги. Бывает, из ненависти.

– Какие тайны на море? - тоскливо не понимала.

– Вам не понять, - отрезал старик.

– Ну, а как же вы их ловите?

– Я не ловлю. Я допрашиваю. Я, повторяю, следователь.

– То есть, их сначала поймают, а потом вы допрашиваете?

– Да.

– А потом?

– Расстрел, - сказал следователь.

Оля ахнула.

– Всех?

– Опять же не я. Уже следующие, - напомнил старик.

– Ну как же... а если... а если... не все, если некоторые не предатели окажутся?

– Не окажутся, - отрезал старик.

– Ну вот же, я же читала, в газете - милиция, осудила, даже избила и - 9 лет подростку дали тюрьмы, а он не убивал.

– Во-первых, - кивнул нетерпеливый следователь, - осуждает суд, а милиция ловит...

– Ну какая тут разница? - взвизгнула Оля. - Ведь подросток избитый, и тюрьмы 9 лет, а он невиновный.

– Виновен, - сказал старик.

– Почему? - едва прошептала Оля.

– Это на взгляд обывателя можно найти оправдание подростку. Ну, представьте, что такое подросток - сгусток инстинктов.

– Чего? - опешила Оля.

– Ну, он весь из этого... понимаете? Из секса.

– Ах, вот оно что, да, да... Он тоненький, у него нежная кожа, чуть впалый живот, ключицы вразлет, чуть девичьи плечи, припухлые губы.

– Виновен! - воскликнул старик.

– Сколько же вы их, предателей... а как... а что они говорят на допросах у вас? Они знают, что их расстреляют?

– Ко мне попадают всегда на последнем этапе, даже в ночь перед самым расстрелом.

Последний допрос, понимаете?

– Прощальный?

– Да. Вроде этого.

– Вы надеетесь, что они самые тайные сведения вам расскажут? Все равно им больше не нужно.

– Нет, девочка, сведения свои они уже рассказали.
 – Тогда зачем допрос?
 – Для слез.
 – А! Слезы раскаяния?
 – Да.
 – И... плачут?
 – Довольно часто.
 – И... - Оля даже взяла его за рукав. - И вы отпускаете их? - Вкрадчиво клянча, пощипывала рукавчик. - После слез?
 – Никогда.
 – Зачем тогда слезы?
 – Для раскаяния.
 – Зачем вам раскаяние мертвецов? Они вам больше не пригодятся.
 – Они не пригодятся, - согласился следователь, - но их нужно наказывать. Нужно казнить.

Для потомков.

– Потомки вас помнят, - сказала Оля.
 – Как вы думаете, почему у меня такое лицо?
 – Какое ещё лицо у вас? - спросила Оля.
 – Я ведь молодой. Это вид. Лицо осунулось от расстрелов.
 – А что? - злобно скривилась Оля. - Все, прямо так и все и плачут у вас? Все-превсе?
 – Я говорю вам про свое лицо. Вглядитесь. Оно кажется более... старшим, от вида расстрелов. Ведь это все непросто.

И тогда она большой и указательный скрючила клешней и поднесла к носу Хоттабыча-Грязных-Дел, твердо захватила ноздри, сжала и потянула вниз, пониже - в поклон раскаленной дорожке песка, убегающей в розы, в комнату смеха.

Он не спешил распрямиться - замер подумать о новом предателе родины.

Оля встала, вытерла пальцы от соплей следователя и пошла мимо Гоголя. Мельком глянула на Гоголя - смертный пот на известковом лбу. Пошла по песчаной дорожке в кусты роз.

Но ведь есть на пляже совершенно обратный старик, молодец. Старый грузин без ноги до колена. Оля ещё удивилась, как он сидит у воды, кто его будет купать? Костыль? Старик хохотал с мальчишками, клекотали сожженные солнцем, вскипала странная речь, высоко улетала. До неба. Седой старик, стриженный, как первоклассник, дети его искупают, грузинские внуки черные в черных трусах, узкие спинки в потеках соли. Оля прикрыла глаза - открыла - старик уже в море. Удивилась. Как его быстро втащили и бросили в синей воде. Стоит по плечи, умно трогает воду руками - не упадет. Как ему на земле нужно слушать свой вес, упавая на костыль, так вода сама подпирает увечье, а тело смеется от радости. Небольшая крепкая голова старика повернулась затылком к нам, а глазами, черными, как у мальчиков, - в длину моря. Хорошие сильные руки взмахнулись - взрезались в море - по лопатки выйдя из воды, дивно и правильно он поплыл, играя воздухом и водой... и вернулся смущенно. Поскорей, кособоко забыл, как стоять, бил воду ладонями, удержался. Вода удержала опять, и опять гладит воду бывший пловец, её баловень. А как он будет выходить из воды? Те мальчишки давно уже убежали. А он снова лег, как маленький, послушался маленьких волн, и они его принесли к сухим камням, и мгновенно уперся руками, ногой, быстрее двуногих он пробежал, пригнутый к земле, добежал до подстилки и сел, свободно, как ему надо, легко владея сухим, темным телом. Вот же радостный, горный старик, совершенно не взрослый, счастливый, гладкий, как красивая, некрупная галька морская! Хороший, хороший старик! Умница! Он любит вино и мясо. Он давно простил свой костыль.

Лег на гальку, пусть тело привыкнет к камням. Солнце ляжет на тело, не двигайся, а то раздавит. Тихонько, помедленней потянись затем камушком, остуди его в пальцах слегка, черный с полоской, круглый и плоский, хорошо уместился в ладони, положи его на ребра, туда, где стучит. Он за день набрал в себя много жара, его море катало, когда тебя ещё не было. В нем есть все, нужное для жизни. Он даже лучше подорожника. Положи его на ребра, пусть в него снизу стучит, вытягивает из него все целебное. Он очень простой. Он понимает только главное.

Пойду потихоньку в свой временный дом на горе. Лягу в бледные простыни, завернусь, стану коконом, буду слушать - что там, во мне? Как там жизнь, нагрелась ли за день?

Как же стол обойти с вечерними игроками?

– Добрый вечер.

– Здравствуйте, вас и не видно совсем.

– А где Костя?

– А я вот он. Я у них выиграл.

– Так им и надо.

Черная Гала ушла от игры, ударила карты о землю. Галина мать:

– Гала, не обижайся, ты выиграешь.

– Пусть эта уходит! - приказала Гала.

– Ухожу, - испугалась Оля. - Играй, Гала, в дурачка.

А Костя выбежал из-за стола и пошел с Олей, взял за руку даже.

– Она пришла, и мы не играем, - показала черная Гала.

– Гала, Гала, - ласкается мать. - Какие у тебя волосики беленькие. Хочешь сказку?

– Хочу быть.

– Ну, слушай про быть.

– Про страшное!

– Будет про страшное.

– Пойдем ко мне поезда смотреть? - сказал Костя.

– Мне нельзя в хозяйские комнаты. Я отдыхающая, - ответила Оля.

– Со мной разрешат! Мама, мама, я отдыхающей Оле поезда покажу!

– Покажи! - из глубины дома.

– Слышала? Ну, пошли в мою комнату.

Пошли в его комнату. Комната в ковриках. Милая у окошка кроватка.

– А где же твой стол?

– А зачем он мне нужен? Я у мамы кушаю, в зале.

– У тебя окошко прямо в пропасть глядит.

– Пускай.

– Ты не боишься? А ночью?

– Ночью ж там темно.

– А зимой? Когда ветер? Зимой тебе страшно?

– Не-а. Я к маме уйду спать, пускай он тут дует один.

– Вместе с мамой? В одной кровати?

– Я маму обниму, пускай у ней головка не болит от ветра, и потом мы спим.

– У мамы головка болит от ветра?

– Потому что шумит. Тогда болела от фабрики. Она работала на фабрике. Они на этой фабрике людей только губят! У них там шумно, и у мамы испортилась головка. Стала болеть и кричать. Ей давали таблетки, но она ушла от них. Правильно! Пускай шум убирают тогда!

Из-за стенки:

– Костя, Костя, ты что там говоришь?

– Я говорю, что они тебе головку сломали!

– Не говори такого!

– А пусть они не шумят тогда! А то они людей гробят.

– А где же твои паровозы? - громко сказала Оля.

– Вот они. В этой коробке. Надо дорогу собрать. Давай собирать.

– Давай. Собрали дорогу.

– Теперь ставь вагончики. Дай, я сам!

– А светофоры?

– Вот у меня светофоры. Поехали!

– Что ж ты на красный-то едешь?

– Ты не понимаешь! Поехали! Внимание! Следующая станция: Сочи!

– Подождите, я опоздала в свой 9 вагон!

– Мы не можем ждать. Догоняйте на самолете! Оля - ж-ж-ж - полетела догонять.

– Ура! Мы вас догнали.

– Стоянка три минуты.

– Мы успели. Уселись. Поехали.

– Следующая станция: Сочи! Гала вошла.

– Мы рапанов вывариваем. Костя, пойдем смотреть.

– Костя, не ходи, они очень воняют.

- Пойдем, их достают из ракушек, они завитками.
- Воняют, - сказала Оля. Костя сказал:
- Я не пойду, я этих рапанов сто раз видел. Гала сказала:
- Я буду играть.
- Играй, Гала, - сказала Оля.
- Пусть эта уйдет, тогда я буду играть.
- Ну, это уж нет, - рассердилась Оля. - Сама уходи. К своим тарапанам.
- Ты что, она ж маленькая! - изумился Костя. - Ей надо играть.
- Ах так! Ну и играй со своей Галой.
- Я быстро! Поехали! Следующая станция: Сочи!

А ночью пошел в уборную, Оля шаги узнала, включила свет, лежит, он поскребся в сарайчик.

- Ну зайди.
- Ты лежишь одна и не спишь.
- А ты ляг со мной, полежи, я усну.
- Мама будет искать.
- У меня головка болит.
- Сильно болит?
- Да.

Он заволновался, не знает, как быть. Топчется, босиком, в одних трусах.

– Я свет потушу, твоя мама не догадается.

Встала, потушила свет. Повела его за руку. Положила к себе.

- Нас заругают, - сказал мальчик.
- Нет, - сказала она.
- Тебя будут ругать, - догадался он.
- Это ничего, - сказала Оля.

Тогда он обнял её за шею:

– Сейчас перестанет головка.

Мигом уснул.

Она лежала тихонько, чтоб не спугнуть, потом немного подвинула его руку со своего горла, чтоб было можно дышать, и лежала так, сторожила, как он спит, щекотно ей в шею. Чуть-чуть отодвинулась от него - очень горячее тело (перекупался, начало простуды). Он заплакал во сне, схватил её сильно, до удивления, чтоб близко была. Больше не отодвигалась.

Утром не поняла - грохот, обвал - мы падаем в пропасть? Дом наш за ночь сполз и повис над бездной? Спасают имущество с риском? Смотрит, рядом с ней спит чужой мальчик, рот приоткрыт, подрагивает от усердия сна. Бледненький, странно ведь - южный ребенок, а бледненький, зеленоватый какой-то.

– Детка мой, сына моя! Бросил ты бедную маму! Постелька твоя холодная стоит одна без тебя навсегда!

«А который час?» - Оля посмотрела: половина пятого.

- Костя, проснись, тебя ищут.
- Может, он куда убежал?
- Да куда же он убежит в пять утра? Украли ребенка. Черные здесь рыскали мужики!
- Надо ещё поискать. Вдруг он в уборной?
- Только что были! Ну что вы такое! Нигде его нету! Нигде!
- Костя, проснись, твоя мама кричит.
- Сердце мне вырвали, звери! Деньги возьмите, все забирайте, отдайте ребенка!
- Костя, сейчас же проснись!

Оля его ущипнула. Она страшно рассердилась - вся улица проснулась, один он спит.

– Отдайте хоть мертвого! Тельце родное отдайте! Хоть волосочки, что там осталось от него - все отдам, золото есть, отдайте мне хоть волосочки!

– Костя, как дам сейчас! Ну-ка проснись!

И вдруг все затихло. «Все смотрят сюда», - она поняла и закрыла глаза.

- Спят. Обои. Целые.
- Боже мой! Пустите меня.
- Пойдите, пойдите здесь, не кидайтесь так, они не убегут.

– Мама, а я и не сплю! Я нарочно лежу, чтобы ты меня нашла.

– Ой, мой ребенок, мой бедный, собачонок ты, как твой отец! Сучка, вылазь, ну-ка вылазь!

Не лежи рядом с ним! И ты сам отодвинься.

– Мама, я не вылезу, ты будешь драться.

– Буду.

– Мама, а у Оли головка болела.

– Убью её на х...

Костя захныкал:

– Она ещё спит.

– Пусть глаза откроет сейчас же!

Оля открыла глаза.

– Я тебя убивать не буду. Ради того, что ребенок нашелся живой. Ты не молчи, не смотри на меня так. Я с тобой сделаю культурно, даже бить я тебя не буду.

Олю связали.

– А я думаю, что она паровозиками играет...

– Знаете что, что её вязать-то? Нас же много, и так отведем.

Стали развязывать. Разозлились - туго стянули узлы, трудно развязывать, дали парочку тумачков.

– И молчит, ты смотри, молчит! ещё смотрит!

– А что она сделала?

– Как это?!

– Нас спросят, что она сделала?

– Она лежала с ребенком. Тем более, с таким. Ладно, там разберутся.

– Скажем: лежала с ребенком. Повели.

– Прощай, Костя!

– На тебе светофорчик!

– Я тебе дам ей отдавать светофорчики! А ты не смей с ним прощаться! Прощаться они ещё будут! Прощальники!

Она оглянулась прощально, нечаянно увидела ту женщину с киселем. Та глазами глядела на Олю, как ребенок на бабочку. Вспомнила вкус земляники. Горячие плечи подруги.

Вели в милицию, но на полдороге бросили, всем хотелось уже на море. Одна Галя пыталась вести её в милицию, дрожа и темнея от гнева. Но Галу оторвали от Оли и оттащили, молчащую от непосильной ярости. Только лягалась, чтобы вести Олю дальше, в тюрьму.

Мне чаще скучно, а интересно всегда рядом со страхом.

Переделась в туалете на морском вокзале. Решила жить без кровати.

Вышла в порт, посмотреть на теплоходы, увидела, что кафе «Ротонду» уже открыли, захотела кофе выпить и вспомнила, что все деньги оставила в сумке в камере. Пошла обратно, стала искать свою ячейку, нашла, стала код вспоминать, пока вспомнила, крутила ручку, дверца взяла и отошла... все вещи украли, только что было с собой - купальник в мешочке и пятьдесят копеек. Пошла опять в порт, теплоход стоял белый, матросы глядели вниз, Оля вверх. Зашла в «Ротонду», дайте мне кофе по-восточному.

– Пятьдесят копеек.

– Пожалуйста.

Грек закопал кофейницу в горячий песок. Греку жарко. Горько пахнет его одеколон. Оля взяла кофе, пошла в круглую комнату-башню. Горьковатый грек пошел следом, чуть-чуть включил музыку.

– С пляжа? - кивнул на её мешочек с купальником.

– С пляжа, - кивнула она.

– Сильно ныряли?

– Почему? - удивилась она.

– Щеки ободрали.

– А, да! - Прыгнула неудачно.

– Мидии на камнях. Острые, как бритвы.

– Да, я знаю, - сказала Оля греку. - Спасибо вам.

За соседним столом компания: женщина с дочкой 12 лет и двое молодых мужчин. Девочке скучно, мокро после купания, ей кофе не дают - рано, купили конфет. Она развернула конфеты,

достала фольгу, накрутила на пальцы. Тот, что постарше из молодых мужчин, глядит на девочкины пальцы.

– Вам нравятся мои пальцы? - сказала капризная девочка.

– Ты, как будто какая-нибудь экстравагантная модница, - сказал молодой мужчина.

– Какие когти! - испугалась женщина-мать.

– Тебе страшно? - нацелилась девочка серебряными ножами. Мать робеет перед красавицей дочерью, отодвинулась от когтей.

– Убери.

– Мне скучно.

– Ну поиграй. Вон ещё девочка...

– Ах, что вы! - испуганно тот молодой человек, что постарше.

Когтистой красавице надоело кокетничать с молодыми мужчинами, навела серебристые пальцы в грудку новенькой девочке, босоногой, полной армянке. Та ахнула, засмеялась и к ним побежала, колыхаясь, вскрикивая восхищенно, шлепая крошечными пятками. Молодой мужчина постарше слегка отвернулся.

– Как тебя звать, девочка? - спросила мать красавицы.

– Лейла. Я тоже так хочу. - Протянула волнисто-бескостные пальчики.

Молодой мужчина постарше закрыл глаза, напряг плечи - через него потянулась, встала впритык, отодвинуться некуда. Молодой человек испугался, что от неё пахнет рыбой. А от неё ничем не пахло. Горячим песком немного.

– Дай, а? - подставила пальчик с мольбой.

Красавица немного нахмурилась, потом, так и быть, сняла один коготь со стройного мизинца, надела на самый большой Лейлин палец.

– Дай еще!

– Больше не дам! - красавица была жадной.

– Так мало.

– Ну хорошо, возьми... - постепенно развернула ещё четыре новых конфеты, накрутила фольгу на Лейлину лапку.

Та опять ахнула - теперь у неё у самой такое сверкание.

Всякий раз, как красавица прикасалась к полной девочке, молодой мужчина постарше слегка содрогался, хотя сам был прижат всей её толщиной к спинке стула.

– Как они славно играют, - сказала женщина-мать. - Ты в каком классе, девочка?

Лейла сжалась, понимающе опустила длинные глаза, знала, что у неё уже все настоящее.

– В третьем.

Мать красавицы немного испугалась, оглядела Лейлу украдкой. Красавица горячо объясняла, как делать серебряные пальцы. Молодые мужчины молчали.

Девочкам стало мало здесь, они встали, пошли от взрослых, стали хохотать и шевелить пальцами.

Вышли наружу, хохотали. Матросы смотрели вниз, на девочек с серебром. Лейлина русская мать отчужденно глянула, пронеся поднос с грязными чашками. Оля успела поставить на поднос и свою опустевшую чашечку, потянувшись за ними в зной.

Девочки хохотали, шевелили пальцами, красавица изнемогала, повизгивала, икала от смеха. Лейла вскрикивала, не могла привыкнуть:

– Пальцы! Пальцы!

– У-у-у! - гудела красавица.

Белое платье оведало красиво колени. Матросы смотрели вниз, на девочек, с белого теплохода.

Полоска воды между причалом и теплоходом смотрела вверх, на теплоход. От её взглядов на белый борт ложились дрожащие пятна.

Девочки не слышали взглядов матросов, хохотали, играли серебристыми бликами.

Теплоход тихо дышал, укачивал верхних матросов, отклонялся от блистающих девочек. В сторону ровного моря.

Матросы глядели вниз, молодые, глядели на девочек.

Маленькие девочки играли стальными ножами, хохотали стеклянно.

Вода не могла отнять теплоход еще, его всего с молодыми матросами. Только скользила несильными пятнами серебра по бортам теплохода, рисуя свою глубину на сухих пока верхних бортах.

Маленькие, устали смеяться девочки, красавица сняла свои когти.

Другая - спрятала за спину - отнимут сейчас серебро. Красавица оглядела армянку печальными, умными глазками.

Ветерок играл белым платьем, оведал коленки подростка. На левой коленке красавицы цвела молодая ссадина.

– Я пошла, - сказала владелица платья и ссадины. – А то мама тоскует одна с этими своими поклонниками.

– Кто эти такие поклонники?

– Это которые ездят за нами везде. Чтобы нам не было скучно. Мама им поможет с работой.

– Давай ещё поиграем? - попросила Лейла.

– Хочешь, возьми мои когти. Мне больше не надо.

– А ты ещё будешь?

– Наверяд ли, - туманно оглянулась красавица. - Мы больше раза нигде не можем, мы скучаем. Но ты посмотри, как делать - вот так вот фольгу скручиваешь и вот здесь зажимаешь, над ногтем.

– Эту вот серебрянку?

– Да. Пока.

– Пока.

Стало скучно. Красавица убежала. Стоит одиноко полная босоножка в полинявшем от солнца халатике. Неумело сверкает серебряными руками. Отвернулись матросы от берега, теплоход покачал-покачал их в сторону ровного моря.

Ночью лежаки на пляже ещё теплые. Конечно, можно пойти на вокзал. Если не получится здесь спать, уйду на вокзал. Как сохранился вкус кофе, серебряных девочек. Все равно это было давно, вот же пустое море, замерзший пляж. Вон там, наверху, в кафе, стоят белые стульчики. Их видно сквозь темноту, так изящно изогнуты. Можно пойти посидеть - сейчас это все мое. Посидела на стульчике. Кушать хотела или нет? Весь день пила бесплатную воду из общих фонтанчиков, откусила у ребенка от булочки. Кафе смотрело на Олю, молчало. Стульчики, беленькие, окружали пустые столы, медленно отпускали тепло дневных своих седоков. Оля спать захотела, немножко тошнило от голода. Приставила стульчик на место, к столу, стала спускаться на пляж. Легла на лежак № 160, стала ждать сна. Под голову подложила мешочек с купальником. В небе шла жизнь тяжелых глубинных движений. Оля дышала. Море лежало молча. Немного шептало. Оля стала думать про собаку, закрыла глаза, стала сравнивать, стала решать, что же делать? Все время мешала собака. Главное было думать про себя, но собака оказалась сильнее. «Ладно, - сказала Оля, - буду думать про тебя. Я тебя испугалась. Но это была уже не ты, а смерть из тебя проступила. Ты тогда пришла в декабре - замерзнуть под нашим порогом, мне стало жалко - рыженькая собачка, мы печку затопим сейчас, а ты останешься умирать, я тебя позвала, ты не хотела пойти, глядела на нас через боль без всякой последней веры. И все же поверила, пошла к нам, думала, ведь у нас есть лекарства, качаясь, скребла пол, я же не видела, что у тебя раны. Легла у печки собачка, стала лежать, я думала, ты будешь жить, а ты только воду пила, но на двор выходила на снег, потом уже в комнате стала выливать из себя красную мочу. Я сначала заплакала, а потом уже стала кричать на тебя, когда стало ясно, что ты не будешь есть, только пить. Убирала еду, ты поднимала морду, смотрела, как уношу. Радовало хоть это живое движение в тебе. Стали ждать, когда ты умрешь. Ты поняла это, вставала, шла, качаясь, царапала когтями, на двор, вылить красную мочу в снег. Думала про того, кто тебя так убил. Возвращалась на сухое место у печки. В холодной веранде стояла газовая плита. Я стала там варить суп, думала дать тебе бульона, обмануть, что вода, и так накормить, чуть повернуть тебя в сторону жизни. Если б ты начала выздоравливать, я б тебя сразу же полюбила, потом бы говорила - вот моя собака, я её спасла от ран, теперь купаю, спит на диване, застенчивость прячет, баловница, больше не дворняжка. Открыла дверь, посмотрела на суп, быстро закрыла, чтоб не выпустить тепло, ты вдруг встала, пошла на двор, со стонами, падениями, я тебя выпустила, ты упала в холодной веранде, где суп в облаке пара, осталась лежать, странно завывала

о далеком, стала скрести линолеум. Я испугалась, закрыла дверь от тебя. Суп стал убежать, я боялась выглянуть, смотрела в щелку, как он убегает, на тебя не смела опустить взгляд. Ты видела меня, пробовала подползти, вернуться в комнату, я ж тебя раньше пускала. Ты подумала, если вернешься в комнату, ты не умрешь. Я тебя не пускала, ждала, когда кончится. Успела выглянуть, приоткрыть крышку, чтоб суп спасти, так выглядывала, и каждый раз ты ползла к двери, ко мне, чтоб пустила. Пока он варился, ты умирала. Говорят «подыхала», умираем только мы. Стала огромной, черной, от тебя было страшно. Суп варился. Мужа не было дома. Мы были трое в снегах: я, ты и суп для нас. Ты умерла, суп сварился. Я его внесла через тебя. Я боялась, что ты шевельнешься. Ты лежала в луже последней мочи. Муж пришел, я сказала: она все. Унеси. Он не знал, как за неё взяться. Взял за передние лапы, думал тяжелая, большая, поволок, у неё голова закинулась - и совершенно белая грудка. Маленькая была собачка. Просто измучился. Отнес аккуратно на улицу (в тупик, там не ходят), положил в канавку на снег. Белая грудка, рыженькая собачка. Ветерок распушил белый мех на грудке, милая морда дворняжки. Ты пробыла у нас две недели. А так бы умерла в ту ночь. Мы вернулись в дом - в доме уже светло. Страшное ушло. Сели, поели супа. Никто не пришел, не спросил: кто убил собаку? Ей можно лежать на снегу, остывая в пушистом меху, никто никогда не спросит о ней. А кто продлил её смерть?

Ели суп, сваренный в облаке смерти. Если б жили богаче, может, вылили его, но суп тогда был редкость для нас.

Я удивляюсь, как тогда хотелось есть. Вот же, сегодня, весь день - далекая чашка кофе и кусок булочки, а нету ни голода, ни жадности. Но ведь надо же что-то делать. Надо пойти хоть в милицию, заявить с криками, плачем, может, там хоть покормят? Смотреть в чужие лица. Говорить слова. Голос из тела. Нет, но хорошо знать, что есть такой выход - пойти в милицию. Что-нибудь придумают.

Вот я подумала про собаку. Вот подумала про себя. Скорей бы уж ничего не думать. И тут она удивилась, впервые удивилась за много лет, села на своем нумерованном лежаке, оглядела весь пляж и далеко посмотрела в море. «Можно уже сейчас начать, - вот что она поняла. - Самая моя срамная вина - перед рыжей собачкой, но про неё я подумала, вынула через столько лет из тайников. И про себя я подумала. Можно, конечно, подумать про мальчика, спящего над пропастью, но, боюсь, он забыл обо мне, получив хорошей порки. Вот оно - можно уже сейчас не думать вообще. Совсем. К тому же у меня все украли. Можно, конечно, прилагать усилия и как-то вырваться из этой - истории, но получится, как с рыжей собачкой - просто не хватит сил. Я пожалела ее, приложила усилие, но все оказалось мечтой, а в настоящем даже раны не могла ей промыть, не знала, как это делают, как их найти в густой шерсти, как добраться до них через рычание, через бурое месиво шерсти и плоти. Ну хорошо, хорошо, я подумаю ещё про маленьких рыбок из моего детства».

И она потихоньку легла опять на свой твердый лежак, закрыла глаза с тем, чтоб уже после маленьких рыбок перестать думать совсем. Маленькие рыбки стали выскакивать из банки - чересчур много налила воды, не оставила места для воздуха. Маленькая Оля смотрела, как рыбки дрожат на столе, не умела их взять, не знала, где им больно, но впервые видела рыбок на письменном столе, не могла оторваться. Таким образом, все рыбки выскочили и прыгали на столе. Мама пришла и сказала: «Что же ты воду не отлила, они бы не задохнулись тогда?». - «Я не отлила воду, потому что не успевала». - «Ты много раз бы успела отлить воду, и почти все рыбки остались бы живы». - «Я их очень люблю». - «Ты не любишь своих рыбок. Они у тебя задохлись». В маленькие жаброчки забился острый воздух, влажные кишочки просто сгорели. Нет, не получилось про рыбок. Они не пушистые и не стонут, не понять, как их жалеть. Тогда я полежу так, без сожалений. Буду думать про самое близкое, что лежак очень жесткий, холодно от моря. Не получается не думать совсем, потому что тело и его голос все время бормочут, что с ними станет. Можно тогда приподняться, посмотреть на море. Тело моря намного древнее и больше моего. Впрочем, лень. Тогда можно просто открыть глаза, это нетрудно. А то с закрытыми кажется, будто мир похоронен без меня. Открыла глаза, увидела человека.

– Нэ спишь? - сказал человек. Человек смотрел черными глазами.

– Зачэм лэжишь? Савсэм один?

Из глаз человека упорно смотрела его слепая жизнь.

– Пайдешь в рэстаран? Зачэм лэжать?

Жадная, раскалялась жизнь в задрожавшем человеке.

– Зачѐм смотришь? Зачѐм лѐжишь? С тобой человек говорит, зачѐм смотришь?

Жизнь уже не могла, рвалась из темного тела человека.

– Падаль! - крикнул человек и, не найдя больше слов, закричал на гремучем своем языке проклятья. Потом выдернул мешочек с купальником из-под Олиной головы, взвесил на руке, взял себе, снова крикнул грубое и пошел. Ушел жить свою жизнь. Мгновенно заснула.

Итак, юг.

Стеклышко красиво блеснуло. Взяла его. Ходила сытая, спать хотела. Смотрит - в воду пошли голоногие девочки в длинных рубашках. Влезли на волнорезы девочки, толкают друг друга, падают обратно в воду. Сама засмеялась от них, захотела к ним. Некуда положить стеклышко. Поискала в платье - некуда положить. Огляделась лукаво - спрятала стеклышко в гальке. Пошла к девочкам через воду. Смеялась от них. Было легко и ярко. Полезла за ними на большие камни. Камни шелковистые, в короткой подводной травке. Гладила травку, травка гладила ноги. Стояла на добром камне. Девочка плеснула рядом. Захотела опять в воду. Быстрая девочка уже стоит на камне, караулит другую девочку. Опять влезла на камень. Вторая девочка толкнула быструю девочку, обе упали в воду, в воздухе схватились руками. Стала ждать их на камне. Девочки стали прыгать в воде, держаться за руки. Выпрыгивают, опускаются, рубашки льнут к девочкам, выпрыгивают, опускаются, добела взбили воду. Стала спускаться обратно, в такую воду. Завизжали, стали пятками бить, уплывать друг от друга, выпрыгивать в воздух. Устала гоняться за девочками, села на ласковый камень, огляделась: кто-то потерялся? Вода вздула юбку на коленях, травка камня гладила ноги, острые, стояли в травке мидии, все были на месте. Было весело.

Замерзла, вышла на берег, легла, полежала. Ходила, смотрела, спала, кушала. Все были веселые. Жить было хорошо.

Вечером становилось тревожно, все уходило куда-то, оставалась одна, спала у воды, приходила собака, ложилась рядом, грела. Утром опять приходили все. Радовалась, ходила со всеми, смотрела.

Ходила, ходила, пришла, где много людей. Было тесно и вкусно. Стояли птички и ягоды. За ними стояли люди. Было красно и черно от плодов. Взяла пушистый и сочный. Старенькая вздохнула, закивала ей: кушай, кушай. Закивала старенькой. Увидела куколку, много куколок, они сразу блестели. Никто их не трогал. Куколки улыбались. Не смела потрогать куколку, стояла, смотрела, кусала персик, сок слипал пальцы.

– Купи матрешку. Купи рюмочку, видишь, с цветочками. А вот смотри, баночка с ягодкой, сюда можно хоть что положить. Купи?

Куколки улыбались, молчали черными глазами.

Увидела черные ягоды, взяла в пальцы. Ягода расплакалась красным, уронила такую ягоду, лизнула пальцы.

– На, хлебца покушай.

Взяла хлебца, стало тепло во рту, захотелось лечь у воды, побыть с хлебцем, теплом во рту. Но мякоть съела, а ягоды были капризные, плакали в руках.

Пошла тогда опять на птичек смотреть, обошла куколок, поулыбалась им. Птички сидели отдельно. Хотели молчать. Свистульки тоже нравились, в них -наливали воду - они сразу пели. А птички хотели молчать, чуть-чуть попрыгивать. Свистульки очень нравились, но это для маленьких, а птички для всех, и ягоды, а хлеб и для всех и для птичек. Вода для свистулек - очень любят воду. От хлеба тепло во рту, он разбухает от слюны, его много и вкусно, но он быстро съедается.

– На тебе... иди сюда, на вот. Смотри-ка, она мясо не ест.

– То же не мясо, ты ей беляш суешь, сам не доел. А ты ей дай мясо, она возьмет.

– Нет, она мясо не возьмет.

– А ты дай, дай ей шашлык.

– Они мясо вообще не едят. Они чувствуют.

– Ну дай ей тогда кофе с молоком попить. У тебя все равно остался.

Попила. Стало сладко. Тепло во рту. Пошла. Светло в темной руке свисает большая гроздь. Рука дергает веточку, ягоды дремлют сами в себе. Взяла в руки гроздь, пошла рассмотреть хорошенько. Взревело страшно, ударило, посыпались ягоды с ветки.

– Уходит! Уходит!

Ударили. Кричит черный рот. Руки большие хватают.

– Гдэ виноград? Гдэ виноград? Съел?

Озиралась испуганно. Чужие руки мешали, рвали больно тело, лицо.

– Гдэ? Гдэ? Куда сунул? Зачем смотришь?

Оскальзываясь на ягодах, вырывалась из рук. Кто-то потерялся!

– Гдэ? Гдэ?

Жгло лицо от чужих рук.

– Гдэ он? Гавары?

Кто-то потерялся? Кого все ищут? Надо вырваться, искать его!

– Гдэ? Гдэ?

Вырывалась, хотела бежать, искать. Руки не пускали, вырывалась, сильнее жгли, сильнее вырывалась.

– Гдэ?!

Закричала, стало тихо. Тихо. Можно услышать, куда он пошел. Руки отпустили, отползли. Тихо. Все вместе дышат. Птичка шевельнулась. Поглядела на птичку. Убрали птичку. Тихо. Тихо. Тихо. Он не потерялся. Он где-то здесь. Спрятался? Стала искать.

– Ыды! Ыды! Вон туда ыды. Савсэм ухады!

Он вон туда пошел. Она его слышала. Надо за ним, скорее! Искала, искала, искала, искала. Нету нигде. Совсем замучилась.

– Кто тебе, бедной, все платье изорвал?

Увидела черные руки. Зажмурилась. Руки ушли.

– На вот, скушай яичко. Ты на него не смотри, глупая. Ты его кушай. Вот так вот, разбей и пей. На, пей. Что ж ты заплакала, чудная, пошла?

Было хорошо, стало плохо. Нужно идти, идти, идти. Быстрее, быстрее, нет, плохо идет! Мало идет! Нужно бежать!

Бегала, бегала, бегала. Стало темно. Одна осталась. Все ушли. Знала - будет светло, все придут, она приведет его, все увидят: вернулся. Глядела на руку, куда ложилось яичко. Рука была пустая. Кто-то плакал в груди. Потерла грудь пустой рукой. Спать захотела, а спать нельзя, нужно искать его, который потерялся. Огонек поплыл в воздухе. Плавал, дышал. Сел на руку огонек, пополз из пустого места руки на пальцы, где высоко для него. Полетел в темный воздух.

Кто-то плакал в груди, за костями. Пришел сильный воздух. Да, нужно идти к большой воде. Она знает. Но вода сама рвалась на землю. Ревела, страшная, неслась из глубин себя. Неслась и неслась, и ревела, несла себя вздутую, всю несла себя к земле, раз он потерялся. Ранилась о камни земли, но назад не хотела, ревела, рвалась. Верх загремел, ударил воду огнем. Везде встала сила. Неубитая билась вода. Верх гремел, гремел, упал в воду. Вода стала везде. Падал огонь. Гремел разбитый верх. Силе стало тесно. Ей было мало. Стало нельзя жить. Летела вода, летал воздух, гремело насквозь. Света не стало совсем. Сила поела весь свет, выла: «И-и-и». Внутри шеи жил голос. Ему тоже было темно. «И-и-и! А-а-а!» Сила кричала везде, голос из шеи кричал. Он потерялся, его нигде нет, никто не может его найти. «И-и-и у-у-у-rrrr!» Сила кидала тело воды, тело воздуха, тело земли и тепленькое тело кидала с его слабым голосом из темной шеи: «Р-ры-ы!» Сила стала внутри. Стала бегать, шатаясь от воздуха, стала прыгать, сила вошла внутрь. Бегала вместе с силой, рычала сильно, разбитый верх отвечал. Было сильно, сильно! Было нельзя жить. Было весело после жизни! Раз его нету нигде! Его нету нигде, нигде! Он потерялся! Все были вместе, носились сильные, больше не будет жизни, но будет сила носить всех и веселить своим громом. Все были холодные.

Чуть не упала. Теплое толкнулось в ноги. Нагнулась посмотреть: кто там остался теплый после жизни? Это была собака опять. Она пришла и прижалась к ногам. Зарычала собаке про силу. Собака спрятала морду в колени ей, стала дрожать. Удивилась - собака теплая после жизни, дрожит, не может от силы. Не хочет летать и реветь. Стала толкать собаку куда-нибудь, чтобы не видеть, как она очень боится. Собака притерлась к ногам, не уходила, дрожала. Собака пришла посмотреть на силу, но не смогла. Показала собаке рукою - вон гремит сила. Собака посмотрела на руку. Падал огонь, гремело, собака припадала на лапы, звала уйти. Пусть уходит. Сила вдувалась в грудь за кости, никто там не плакал. Собака стала уходить. Сейчас, сейчас, надо дышать силой! Собака стояла, ждала. Собака стала одна, без силы, без холода, собака жила, не знала, что уже нельзя. Пошла за такой собакой. Шли, ударялись о воздух, о воду, шли. Забрались на лесенку, где лодки под полом. Полезли в дыру. Лезли, лезли, совсем тесно. Встать нельзя. Под

полом лодки. Легли на доски, смотрят - между досок - вода таскает лодки на цепях. Вода долетает до живота. Лежали, смотрели вниз, на лодки. Лодки визжали, вода рычала. Стало холодно, придвинулась к собаке, собака заворчала. Сказала собаке: «И-и-и». Собака положила морду на лапы, разрешила придвинуться. От собаки тепло. Стала лежать, слушать собаку, в собаке хрипело. Было тепло. Лежали, смотрели вниз. Вода таскала лодки. Немножко долетало до животов. Собака грела. Верх стал подниматься. Лодки стали засыпать. Вода устала. Все стали спать. Собака тявкнула во сне. Потрогала собаку, чтоб не дрожала. В собаке хрипело. Собака была теплая. Все спали.

Верх был синий, молчал. Оттуда, где свет, жгло лицо и плечи. Ходить было трудно, жгло. Все лежали тихо у воды. Вода молчала. Из неё шел свет. Ходить было горячо, красиво спали ветки.

Пошла искать еду. Нигде не было. Трава позвала. Стала ходить по траве, вспомнила про воду, но уже далеко - легла вся в траву, трава стала шептать, стали приходиться из неё разные. Ползли и летели, один трещал над лицом. Отвернулась, увидела сливу.

Слива лежала, где мало травы. Слива была одна. Слива была горячая, немного лопнула. Были пузырьки горячего сока и сахара. Она блестела и нет. Взять было далеко. Слива ждала. Лучше было лежать.

Все приставали, ползли. Было смешно от них. Хотелось смотреть на сливу. Как она лежит, раскрывается пузырьками сока и сахара.

Пришла змейка с ножками, раскрыла ротик. Ротик был желтый, змейка была серая. Оторвала от сливы, трудно глотала. Сразу пришла другая змейка, молодая. Оторвала от сливы, тоже стала глотать. Серая змейка толкнула молодую - отгоняла от сливы. Та отбегала, глотая, а тут пришли сразу ещё змейки и стали кушать.

– Эй, здесь нельзя лежать. Вы слышите?

Тогда серая змейка их всех растолкала и засунула голову в сливу. Все дрожали и толкались. Били хвостиками. Все залезали в сливу и отбегали, трудно глотая. Потом все ушли.

– Уходи! Уходи! Кому говорят!

Осталась пустая слива.

– Иди с газона!

– Пускай лежит, что тебе? Она же вон какая.

– Здесь отдыхающие гуляют! Им видно.

Она лежала и блестела, она смотрела дыркой. Все наелись и ушли, а слива все ещё была. Она лежала и ждала. Пришлось встать и пойти к ней. Взяла пустую сливу, пахло горячим. Стала её жевать.

– Смотри: она траву ест.

– Не траву, она что-то нашла из травы.

Она долго не глоталась, делала слюну сладкой. Потрогала место земли, где она лежала. Змейки спали на камнях. Разные ползали и летали. Слюна оставалась сладкой. Сливы больше не было. Было много сытых змеек, была сладкая слюна. Жить было хорошо и жарко. Кто-то смотрел прямо в голову. Говорил нежное. Иди искать теплого хлебца. Его дают, он сам не лежит, как слива. Не знала, что боится (помнила про виноград), думала, что хочет лежать в траве. А хотела теплого хлеба.

Пришла, где корабли. Корабли хотели сюда. Они были очень большие, стояли тихо. Земля не могла их держать, а вода могла. От них болели глаза. Они были очень чистые - всегда жили в воде. Им не было жарко. А хотели сюда. Рядом стояли. Приходили и стояли, смотрели, но их прогоняли обратно, они брели через большую воду до самого конца, где не видно. Там они жили. Но всегда хотели сюда.

Внизу, у кораблей, весело. Здесь может быть хлебец. Ходила, ждала.

Увидела - в самом низу, под ногами у всех - человек на подставке. Он держался руками за землю. Рядом стояла бутылка. Человек из неё пил. Рядом лежал хлебец. Немножко. Низкий человек смотрел вперед, на большую воду. Корабли ему мешали, он сердился, катился туда-сюда, ударял кулаками землю. Потом находил бутылку, пил из нее. Человек зло откусывал от хлебца и снова смотрел на большую воду. На спине у него было мокро от жары, волосы были теплые от жизни. Подошла, потрогала волосы. Волосы были послушные. Села рядом на коленки. Голос из человека шел смело. Сидела, смотрела на тихие волосы. Сидеть так было неудобно, но не хотелось уходить от него вверх. Человек попил из бутылки, подержал в руке, дал. Из бутылки

пахло хлебцем. Отпила, горько, человек показал зубы. Смеялась от его смеха, стали смотреть на воду. В ней стоял свет. Человек пил из пенной бутылки. Пахло хлебцем, водой.

– Ты говорить совсем не можешь?

Пена лезла из бутылки. Человек её слизывал языком.

– Плохо. Видишь, у меня наружность обрезанная, а у тебя внутри ничего не осталось. Видишь, как по-разному с людьми происходит.

Человек был короткий, его ноги затянуло в землю. Он упирался в землю кулаками, хотел ещё выглядывать сюда.

– А ты с кем живешь? Я - один.

Голос из человека хотел улететь, но все время боялся, прятался в горячее шептание. Если голос улетит, он останется совсем один, без ног и без голоса.

– Мне 32 года. У меня сильные руки. Я много умею.

Если голос совсем уйдет, человек не сможет удержать землю, она затянет его всего, с теплыми волосами.

– Кому хуже: мне или тебе? С другой стороны, зачем женщине ум, а хоть и голос? Ей нужно лицо и ноги. А с другой стороны, я все могу. Куда хочу - иду, могу даже купаться.

Голос обманывал человека. Человек это понимал, находил свою бутылку, кусал хлеб:

– Я дома все сам делаю. А у тебя даже дома нету. Это видно. Одно колечко, и то простое.

Пришли другие. Отвыкла, что высокие. Смотрела вверх - видела черные дырки ноздрей. От высоты их глаза боялись. Немного. Им было высоко стоять, и они не знали, что им теперь делать. Стали говорить своими голосами.

– Толик, ты невесту себе нашел?

– Нашел, Дима. Видишь, села, не уходит.

– А что, все при ней.

– Так я не спорю. А вы купаться?

– Эй, пойдешь за Толика замуж?

– Она говорить не может. Вы куда идете, в кино, что ли?

– Зачем с ней говорить. Ты с ней молча.

– Хачек, вы с Димкой купаться идете?

– Слушай, Толик, а должи невесту, будь другом!

– Если купаться, то сейчас море грязное. После шторма.

– Пойдешь са мной? Что так смотришь? Где я тебя видел? Толик, она твой хлэб украла!

– Пускай берет!

– Палажи хлэб! Спрашивать надо!

– Пускай берет, мне не жалко.

– Пускай чужой хлэб паложит!

– Да она говорить не умеет.

– Врет! Она гаварила! Я слышал!

– Она видишь, дурочка. Димка, скажи ему!

– Да ладно, Хачек, что ты к ним прицепился! Тоже заводной.

– Пускай скажыт, что дура! Пускай сама скажыт! Тогда пускай бирет хлэб! Скажи - дура!

– Хачек, пойдешь в ресторан? Пока, Толик.

– Нет, пускай сначала сама скажыт: дура!

– Иди отсюда, иди, видишь: ребята сердятся. На, забирай хлеб. Ну, иди. Застучал кулаками о землю. Кто-то потерялся!

– Хлеб забыла! Ты... хлеб забери!!!

– Ты её не дагонышь, Толык. Айда, Дима!

– Айда, Хачек! Ну ты, заводной.

Чтобы спастись, надо терпеть. Мне вырезали поджелудочную железу, и я стала болеть. Ничего не могла кушать, сил не было. Потом проверили - нужно опять делать операцию. Так мне сделали три операции. Совсем зарезали. Потом иду один раз по городу, думаю: сколько мне осталось жить? Сколько человек может прожить без поджелудочной железы? Смотрю, везде люди ходят, как раньше, дети. Солнышко греет. Я подумала: я умру, земля закроется за мною, а наверху все останется как было. Никто не заметит, что нету больше Валентины Петровны. Раз так надо, то зачем мне тяжело в груди? То ли мне жалко, что я всех этих чужих людей не увижу?

Раз мой родной сын давно уже позабыл и уехал без адреса. Или же мне жизни жалко? Но ведь приходит мой срок, как у каждого человека, и это есть закон природы. Тут я вижу: стоит рябинка, уже близко к осени. И рядом с нею стоит нестарый ещё старик в сапогах. Весь он был продутый пылью дороги, и за спиной у него был мешок на веревочке. Он стоит, этот старичок, и смотрит, как дрожит рябинка, а в то лето рябины было много, и ей было тяжело от красных своих гроздьев. Я встала и смотрю на этих двоих. Думаю, сейчас он мне скажет: что ты, бабка, уставишься без разрешения? И сама понимаю, что нехорошо так за человеком подглядывать, а уйти не могу. Что-то меня тогда изумило. Тогда этот старичок понял, что я не уйду, и повернулся ко мне. Лицо у него было важное, и он сказал: «С праздником вас!» А я говорю: «С каким же это праздником?» И он опять на меня посмотрел, как будто ему жалко стало сказать, и стал молчать. А я говорю: «Гражданин, вы мне объясните, какой сейчас праздник?» И он видит, что я все равно не уйду, ещё подумал и решил, что ему не жалко сказать: «Рождество». А я, как назло, опять удивилась, я же знаю: Рождество зимой бывает. И тогда он признался: «Рождество Богородицы. Божией Матери».

Оттого он и стоял рядом с рябиной. Я уж догадалась, что это был верующий человек, раз он с мешком и в сапогах пришел. Я сказала: «Иван Федорович, пойдём, у меня побудь сколько хочешь, я одинокая, мне все равно». Как же я потом удивилась, что ему надо было дальше идти, а он не пожалел и остался для меня.

Много мы говорили. Я узнала, что нужно спасаться. Когда мне было думать, если я на заводе работала и сына поднимала одна. А потом, после первой болезни, в контору перевелась на 70 рублей, и всю жизнь не понимала, что Бог есть с нами. И никто не понимал, тем более говорилось, что Бога с нами нет, и разрешалось думать, что мы сами одни. А жить было трудно, и некогда было думать, надо было работать, чтоб жить. Все кругом работали и говорили: мы одни, Бога с нами нету, и я же говорила, потому что была молодая и мне нравилось быть с людьми заодно. А теперь уже старых отпустили от агитации, и старые могут думать, как хотят, потому что они нигде не трудятся и обществу больше не помогают. У старых есть свобода. Тоня тоже может подтвердить.

Смотрела на Марию Валя. Мария смотрела на море. Мария была худая. Валя отдала ей кофту, ночью было холодно, в груди у Марии хрипело. Тоня давала Марии платок на голову, но Мария не захотела. Мария не знала слов, не слушала, что говорят, всегда смотрела море. Однако с ними пошла. Спала с ними рядом, ела, если же забывала про них, хотела уйти одна, ей говорили: «Мария, а вот у меня хлебушек?» Тогда она оставалась.

Валя сказала Тоне: «Пускай Мария идет с нами». Тоня боялась, что Мария чужая, вон у неё на пальце колечко. Но Марию никто не искал. ещё Тоня не знала, можно или нет звать её Мария, но Валя сказала - можно. Человек должен быть с именем, пускай будет Мария, а когда они придут в Новый Афон, там решат, как её правильно назвать. В Новый Афон идет странник из Палестины. Этот странник откроет имя Марии. А если не сможет, то скажет, куда им дальше идти. Валя уже знала, что есть люди, которые многое могут. Нужно искать к ним путь. Тоня недавно пришла и пока ничего не знала. Тоня боялась, что нельзя говорить с Марией, раз Мария не понимает. Но Валя видела - Марии нравятся голоса. Валя верила, что Мария понимает слова. Валя стеснялась сказать Тоне про это. Тоня грустила, что не умеет говорить Марии и Мария не взяла её платок. Тоня стеснялась, что пугается холодного Марииного взгляда. Тоня молилась внутри себя, чтобы Мария стала говорить, чтобы сказала свое имя. Чтобы пустые глаза Марии наполнились теплом жизни.

Там, где двое или трое соберутся во имя мое...

Тоня пока что боялась общей молитвы. Она недавно пришла.

Валя не принуждала ее: «Будем шептать внутренне».

Расстелили чистый платок, стали выкладывать еду: хлеб, три помидорки, пять картошек, банку с соленой капустой. Тоня засомневалась - капуста красная - можно такую есть? Валя сказала, можно. Это южная капуста. У нас она белая, а здесь просто красная, от сильного солнца, вот и все. Это с непривычки.

Разложили еду. Стали творить молитву. Молитву творили губами, жгучие слова ещё могли опалить непривычную Тоню. Море было слышнее губ. Мария терпеливо смотрела на море. Привыкла уже, что едят после вздохов.

Ели. Видели, как играют дельфины. Обрадовались.

Тоне хотелось вслух говорить те слова, всегда говорить их.

Валя сказала: «Когда мы говорим их, Он здесь». Тоня боялась, что её видно, какая она, прикрывала юбкой колени.

Валя сердилась, говорила: «Ему нужен труд твоей души, а не какая ты сверху».

Но Тоня стеснялась: мир красивый, а у Тони распухшие ноги. Ему это грустно. Тоня понимала, что она ещё ничего не понимает. Душа хотела все понимать, но ещё не умела. Все время трудилась. Мария сидела на мокрых камнях. Надо было сказать, чтобы не сидела. Мария не могла без воды, поэтому они шли берегом. Берегом идти было больно для ног, но если не видно моря, то Мария боялась, могла убежать совсем. Тогда Валя открыла ножик и обстрогала для Тони палку. Стали идти морем, опираясь на палку. Мария ходила легко, уходила от них, ждала: когда там старые ноги придут? Видела - вон они обе идут с палкой, с котомками, снова шла. Откликнулась на имя Мария. Если ей крикнуть: «Мария, не иди быстро!» - садилась, ждала.

Ноги распухли от пешего хода, по горячим камням. Никого не было. Заходили в воду. Мария входила в платье, не понимала, чтоб снять. Платье совсем побледнело от солнца. Мария была черная.

Тоня была боязливая. Она знала - ей не догнать смелую Валю. Валя уже умела плавать в море. Валя говорила: «Ну что же ты, Мария, иди сюда, раз ты все время смотришь в воду». Мария входила, плыла вместе с Валею. Тоня стояла у берега в мелкой воде, смотрела - лежат в гладком море, молчат, далекие.

Тоня любила прохладу и легкое солнышко, медленные, простые слова. А здесь свет обжигал, вверху люди кричали горячо и круто. Яркое море немного ласкали разбитые ноги. В Афоне святые места, они шли туда. Обоженная солнцем Мария в бледном платье все время шла впереди. Валя сказала:

– В Новом Афоне жили ученые люди. Они написали книги. Может быть, там мы прочтем, как имя Марии?

Тоня думала, вот я жила свою жизнь. Муж у Тони был пьяница. Тоня устала жить от пьянства и драк. Но муж не сдавался и пил. Все его знали, пьяницу. Тоня от него убежала с маленькой дочкой. Этот пьяница-муж подрался с друзьями, такими же пьяницами. Они проббили ему голову молотком. Тоня думала, что муж умрет, но вместо этого ему вынули все осколки костей и впаляли в дырку черепа пластинку. Тоня думала - это же трудная операция, хорошему человеку не всегда достанется, а этому мужу-пьянице сделали пластинку. Он пришел, стал показывать. Тоня ему сказала: «Если б врачи знали, какой ты, они бы не стали стараться. Ты у такой маленькой дочки последнее забираешь и никого не жалеешь». Тоня взяла дочку на руки, хотя он и кричал, что больше не будет, но Тоня хлопнула дверью навсегда. Тоня была красивая женщина и снова вышла замуж. Новый муж оказался очень хороший человек, он работал и никогда не жаловался, он помогал соседям, он был немножко хмурый, потому что уставал все время трудиться, но ночью, ложась спать, Тоня клала голову на грудь нового мужа и слышала твердый стук его неослабного сердца. Тоня прожила с ним всю жизнь, выдала замуж дочь, родилась внучка. Тоня жила хорошо. Однажды в старости пришли и сказали: «Твой муж-пьяница умер. Пойди, простись». Тоня думала: зачем мне идти? Пришла в больницу, он нигде не жил, и ему негде было лежать после смерти. Говорят - вот он, ты его не узнала. Ей показали мертвого старичка. Тоня сказала: «А у него есть пластинка в голове?» Ей сказали: «Есть». «Поверните его», - попросила Тоня. Ей повернули его, и Тоня узнала пластинку. Пластинка была молодая, на облезлой голове. Тоня спросила: «Ее не выколупнут для другого человека?» Ей сказали: «Нет». Тоня даже расстроилась - вот пропадет пластинка. Опять этот мертвый пьяница забирает себе, а хорошему человеку может не достанется. Тогда ей сказали: «В чем его хоронить?»

– А что у него есть? - спросила Тоня.

– Ничего у него нет, - сказали ей.

Тоня отдала пьянице костюм нового мужа, он сам согласился: «Отдай». Тоня похоронила одинокого пьяницу. Под землю ушли костюм и пластинка. Тоня сказала хорошему мужу: «Мы с вами прожили жизнь, вы меня не обижали. Вы отдали свой костюм пьянице. Отпустите меня странствовать». Муж сказал: «А внучку Наташу будут ко мне приводить?» Тоня сказала: «Вы ей родной дедушка получились. Обязательно». Тогда муж сказал: «Иди, Тоня, странствуй».

И Тоня ушла.

Тоня хотела знать, куда тянется жизнь? Куда она тянется все-таки? Кроме внуков, конечно, посадки деревьев и добрых дел. Куда она тянется? Всем своим протяжением - вот куда?

Тоня даже боялась, что ей так думается. Но мысли никуда не уходили, и Тоня шла за Валею. Тоня видела большую Валею, как она весело плещется в морской стихии и свет воды играет на Валином теле веселыми бликами. Тоня знала, что Валя три раза заглянула в лицо смерти. И собственный Валин сын жестоко ушел в неизвестность. Но Валя не испугалась ни смерти, ни пропавшего сына. Валя плавала в морской стихии и смеялась рядом с молчащей Марией, и свет воды прыгал по ним обеим.

Тоня посмотрела на красоту мира. Нерусские горы стояли в голубой дымке. Тихое, смеялось море. Легкие ветерки прикасались к Тоне. И Тоня думала: неужели? И сейчас? И каждое мгновение жизни? Тоня боялась докучать Ему, потому что раньше, когда она была красивая, как вся красота мира, она не думала о Нем, а теперь побежала за Ним, и теперь она не знает - видно ли ее, Тоню? Да, Валею видно. Валя смелая в жизни, она знает все правила, она спокойно спит ночью, охраняясь одной лишь молитвой, идет, не уставая, и Вале нету преграды. Валя вела Тоню к святым местам и говорила:

– Терпение. Все, что ты просишь, Он тебе даст. Только проси, не перестань. Тоня боялась думать, а вдруг Его нет? Но потом вспоминала молодую пластинку в мертвой седой голове и робко просила:

– Возьми его в свое Царство, если можно.

Царство было синее и высокое. Она не знала: можно молиться за такого пьяницу? Но вот Валя вела впереди обожженную солнцем Марию и говорила: «Да. Оно открыто. Идем».

Ведь мы нашли Марию, у моря она лежала. Мы промыли ей раны, сняли коросту, нажевали ей хлеба, чтоб ела. И она осталась жить снова. Может быть, она уже не хотела, открывала глаза, закрывала, но мы были с ней все дни, пока она не встала. Сколько же на ней было следов, где она была? Валя её полечила, промыла. И стали идти.

– Ноги болят, - сказала Тоня.

– Мария, не иди быстро! - крикнула Валя. Но Мария не слушалась, убежала вперед.

– Мария, а вот у меня хлебушек, - позвала снова Валя. - Вот он лежит у меня, хлебушек наш.

Мария лениво вернулась, встала неподалеку, хмурая, села ждать.

– Не могу я больше солнцем идти, - сказала Тоня и заплакала.

– Иди садами, - сказала Валя. - Поверху. А мы будем низом тащиться.

– У меня не получилось, - сказала Тоня. - И так и так плохо. На таком солнце я умру. А садами идти не трудно - не зачтется.

Валя покачала головой:

– Ты не права, Тоня. Мы бы все шли садами, если б Мария могла отойти от моря. Мы же идем с Марией, потому что она не знает, а мы знаем. Разве можно её бросить?

– Нет, не можем, - сказала Тоня и посмотрела на Марию.

Мария сидела, ждала, смотрела на море. Тоня отвернулась от моря и посмотрела назад - туда, вверх, на сады.

– Те монахи давно умерли, - сказала Тоня. - Кругом совсем другие люди. Валя молчала.

– Я не это хотела сказать, - сказала Тоня. Я знаю, во мне нету силы.

– А в ней есть? - показала Валя на Марию. Тоня опять посмотрела на Марию. В ней не было силы.

– Иди садами, - сказала Валя. - А вечером будешь спускаться к нам.

– Если б шли нормально, сели бы на электричку, - сказала Тоня. - А то у меня в глазах чернеет.

– Мы бы на электричке давно уже приехали, - согласилась Валя.

– Если б мы опять были молодые, было бы хорошо, - сказала Тоня. - Мы теперь знаем, и были бы молодые, красивые в красоте мира. А мы вон какие.

– Такое ещё будет, - сказала Валя, - мы будем красивые в красоте мира.

– Ничего я не увижу, - сказала Тоня, - ни кипарисовую аллею старинных монахов, ни монастырь, выбитый прямо в скале.

Тогда Валя села с ней рядом и стала молиться. Но Тоня совсем легла и начала умирать.

Тоня открыла глаза и стала видеть небо. Оно было легким и тихим. Рядом шептали море с Вале́й, Мария постукивала камушком. От садов шли запахи. Внизу все время шла жизнь. Вверху был один свет, и там никого не было. Но Тоня не стала говорить этого Вале, потому что ей ещё далеко идти, и ей надо вести нищую Марию по такому солнцу. Солнце было везде, и там, где-то, с другой стороны, шел терпеливый странник из Палестины. Тоня уже не увидит его.

Валя не знала, что делать теперь. Тоня легла умирать, а Мария пошла и не слушалась больше. Валя пошла за Марией, просила остаться, но Мария уходила, тогда Валя стала сильнее молиться и повернула обратно, к печально-недвижной Тоне.

Шла. Всегда лежала вода. Было ясно. Верх смотрел, как идет. Знала - верх смотрит, вода смотрит. Стали идти за ней две старенькие. Несли за ней хлебушек. Захочется хлебушка, старенькие давали. Всегда рядом вода и верх, и хлебушек. Старенькие ходят медленно, сердилась на них, убегала.

Шла, старенькие легли. Стала ждать. Устала очень. Пошла, чтобы верх продвигался за нею, не стоял на месте и вода шла рядом. Оглянулась - старенькие не хотят. Забеспокоилась - остаются там. Но рядом блестела вода, загляделась, забыла. Шла и шла. Есть захотела, стала искать, нету нигде хлебушка. Искала, искала, нету, только камни лежат, нету нигде хлебушка. Искала, искала, нету, только камни лежат горячие, и птицы качаются на воде, смотрят. Вспомнила: старенькие дают хлебушек. Нигде нету их. Посмотрела вверх, на сады - в садах темно. Стала идти без хлебушка.

Стало трудно идти и сонно. Вдруг споткнулась о камни, упала, разбила обе коленки. Стало больно. Вошла в воду. Ноги бледно стояли в воде. Маленькие рыбки подбегали к коленкам, смотрели на кровь, боль прошла. Постояла в воде, полежала. Хлебушка не было. Вышла из воды.

Было тихо, светло. Сады хотели вниз, тяжело. Оправила мокрое платье. Оглянулась - светло. Птица крикнула - испугалась. Оглянулась - светло, светло! Постояла на месте. Сады смотрели вниз, молчали. Не поняла, что такое - стала идти обратно. Медленно шла, смотрела под ноги. Камни лежали тихо. Шла, смотрела.

Шла, смотрела, поднимала камни - нет, не то - бросала обратно. Потерла грудь, замычала. Стала искать очень сильно. Камней было много, устала смотреть, но искала. Пока искала, забыла кого ищет. Замерла испуганно. Но кто-то снова заплакал в груди, так сильно заплакал, что стала бегать, кричать.

Она подошла потихоньку - лежали.

Открыла глаза - Валя. Тоня - нет.

Валя села послушно, смотрела, как она подошла.

Она подошла, села с другой стороны у Тони. Кто-то плачет? Нет, было тихо. Свет медленно уходил.

Смотрела слабыми глазами - Валя. Через Тоню смотрела, сидела, а Тоня лежала важно. Свет уходил, угасал.

Смотрела Валя, моргала, терпеливо смотрела слабыми глазами, с последним усилием через угасающий свет.

Ей стало трудно от этих глаз. Не стала смотреть на Валею. Стала смотреть на Тоню. Тоня лежала, молчала. Взяла Тоню за руку, рука не хотела, выпала на камни.

— А Тони нету, - сказала Валя.

Ей стало трудно, она легла рядом с Тоней и отвернулась от них от обеих совсем.

Валя тоже легла по свою сторону Тони, не захотела одна сидеть, видеть, как свет уходит.

Лежали. Свет угасал, угасал. Осталось немного - красного в глубине. Вверху, позади - зажглись сады. Стало начало ночи.

Лежали по обе стороны Тони, ногами к морю, головами к садам. Море немного шептало, угасало, сады молчали, сияли.

Валя шевельнулась немного. Она приподнялась - зачем шевельнулась?

— Мария, - Валя робко попросила. - Мария, а как твоё имя?

— Мария, - сказала она.